

ФЕДЕРИКО АНДАХАЗИ



Милосердные

КНИГА-ЗАГАЛКА КНИГА-БЕСТСЕЛЕР

Annotation

Джон Полидори, секретарь лорда Байрона, приплывает вместе со своим господином и его друзьями – четой Шелли – на некий остров. Вскоре Полидори начинает получать странные письма от незнакомки, утверждавшей, что она давно ждала его приезда. Выясняется, что она – одна из трех сестер-близнецов, но если ее сестры красавицы и светские львицы, то она – самый настоящий монстр и в прямом, и в переносном смысле слова. Сестры поддерживают едва теплящуюся в ней жизнь весьма оригинальным способом... Как именно? Вот тут-то и начинается приоткрываться жуткая тайна...

- [Федерико Андахази](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [7](#)
 - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)

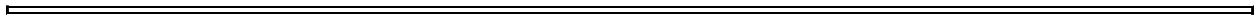
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)

- [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)

- [notes](#)

- [1](#)



Федерико Андахази

Милосердные

Всякая биография – это система предположений; всякое критическое суждение – пари, заключенное со временем. Системы заменяемы, а пари, как правило, проигрывают.

Хулио Кортасар

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Было нечто в тоне письма, что меня насторожило. Его стиль полностью отличился от стиля Лэграна. О чем он грезит? Какую новую причуду породил его воспаленный мозг? Какое такое дело «исключительной важности» могло у него быть? Сведения о нем-, которые сообщил мне Юпитер, не предвещали ничего хорошего.

Эдгар Аллан По

Тучи – черные высокие готические соборы – грозили вот-вот обрушиться на Женеву. Дальше, по ту сторону Савойских Альп, свирепствовала буря, стегая ветром и приводя в неистовство мирные воды Женевского озера. Зажатое между небом и горами, словно загнанное животное, озеро вставало на дыбы и хрипело, как лошадь, щетинилось, как тигр, и било хвостом, как дракон, отчего на его поверхности бушевали высокие волны. В бухточке, притаившейся среди скал, которые стремительно уходили в воду строго под прямым углом, находился небольшой пляж узкая полоска песка, напоминавшая ущербный месяц, когда волны накатывали, и нарастающий, когда вода отступала. В тот непогожий июльский вечер 1816 года к молу, ограничивавшему восточную оконечность пляжа, пришвартовалось небольшое суденышко. Первым высадился хромой мужчина, которому пришлось с трудом удерживать равновесие, чтобы не свалиться в водную пасть, обрушившую весь свой гнев на непрочную конструкцию волнореза, походившего с кружившими над ним чайками на неподвижные останки какого-то фантазмагорического животного. Ступив на мол, вновь прибывший одной рукой обхватил мачту, а другую протянул, помогая высадиться остальным: сначала двум женщинам, затем мужчине. Группа, напоминавшая *troupenелепых* и забавных эквилибристов, направилась по волнорезу к суше, не дожидаясь, пока высадится третий мужчина, которому пришлось справляться с этой нелегкой задачей в одиночку. Растянувшись цепочкой, они двинулись вверх по склону навстречу ветру, пока – промокшие, веселые и запыхавшиеся – не достигли дома, что расположился на вершине невысокого холма Виллы Диодати. Третий мужчина шел коротким легким шагом, не произнося ни слова и не отрывая взгляда от земли, как собака, следующая по пятам за своим хозяином Женщины были Мэри Годвин Уолстонкрафт и ее сводная сестра Джейн Клермон. Первая, хотя и не состояла в браке, считала, что имеет право носить фамилию мужчины, за которого в скором времени собиралась выйти замуж – Шелли. Вторая, по причинам менее известным, отказалась от своего имени и называла себя Клер. Что до мужчин, то ими были лорд Джордж Гордон Байрон и Перси Биши Шелли. Но никто из перечисленных персонажей не представляет особого интереса для этой истории, кроме того, кто покинул лодку последним и одиноко замыкал шествие – Джона Уильяма Полидори, бесславного и презренного секретаря

лорда Байрона.

События, происходившие тем летом на Вилле Диодати довольно хорошо известны. По крайней мере, некоторые из них. Однако если бы можно было прочесть письма доктора Полидори, безвестного автора *The Vampyre*, то, возможно, вскрылись бы новые, доселе неведомые подробности его жизни и высветились обстоятельства его преждевременной трагической смерти.

The Vampyre принято считать первым рассказом о вампирах, краеугольным камнем, над которым впоследствии будет нагромождено бесчисленное количество подобных историй, вплоть до того, что литература о вампирах станет самостоятельным жанром, вершины которого – по своей значимости – достигнет Брэм Стокер со своим знаменитым графом Дракулой. Также нет ни одной истории о вампирах, которая не была бы обязана сатаническому образу лорда Рутвена, созданного Джоном Полидори. Между тем события, связанные с появлением на свет *The Vampyre*, представляются столь же загадочными, как и сам рассказ. Известно, что в отцовстве никогда нельзя быть полностью уверенным. Это утверждение в равной мере можно распространить и на литературные детища. Однако, несмотря на то, что обвинения в плагиате – достоверные или безосновательные, – и в прежние времена, и в наши дни кажутся вечными спутниками литературы, древними, как и она сама, *The Vampyre* не породил никаких споров по поводу прав собственности. Напротив, по какой-то таинственной причине никто не хотел признавать своим это роковое творение, которому предстояло открыть новые пути. Рассказ был опубликован в 1819 году и подписан лордом Байроном. Но обратите внимание на следующий парадокс: в то время как Байрон охотно брал на себя ответственность за – как бы получше выразиться? – запутанную историю с беременностью Клер Клермон, он яростно и непримиримо отвергал всякое родство с *The Vampyre*, возлагая всю «вину» на своего секретаря, Джона Уильяма Полидори.

Итак, без всякого сомнения, происхождение столь сумрачного повествования, как *The Vampyre*, не могло быть менее темным, чем его содержание. Известно, что после смерти Полидори среди его вещей были обнаружены письма и документы, которые могли бы добавить нежелательные факты к биографиям нескольких известных персон, имевших полное право рассчитывать на посмертную славу.

Переписка, о которой идет речь, ни для кого не секрет. Точнее говоря, абсурдный и скандальный путь, который эти документы проделали по юридическим, академическим и даже политическим инстанциям,

достаточно хорошо известен. Споры об их подлинности вылились в настоящую войну. Публиковались отчеты экспертов, результаты каллиграфических исследований, уклончивые показания свидетелей, гневные опровержения действующих лиц, так или иначе к ним причастных. И лишь содержание одного-единственного письма так никогда и не стало достоянием общественности. Говорили, что оно сгорело вместе с другими документами в 1824 году во время пожара в судебском архиве. И поджог был преднамеренным. Но скандалы, и даже те из них, которые кажутся великими и принадлежащими вечности, так же быстротечны, как время, что отделяет один от другого, и неизбежно оказываются погребены под тоннами бумаг и затоплены реками чернил. Упорное молчание участников, нарастающее равнодушие публики и, наконец, смерть всех персонажей предали забвению скандальную переписку, от которой, с другой стороны, как утверждали, остался только пепел. Единственное, что сохранилось, это не менее сомнительный дневник Джона Уильяма Полидори.

Читатель, наверное, уже догадался, что сейчас последует неизбежное «однако...». Действительно, не так давно, будучи в Копенгагене, я совершенно случайно познакомился с одним милейшим человеком, представившимся мне как последний из тератологов, экзегет, исследующий древние тексты о чудовищах, своего рода археолог ужаса, искатель следов, которые оставили мистические монстры после своего устрашающего шествия по миру, и, наконец, как собиратель новых разновидностей человеческих левиафанов. Это был бледный худощавый мужчина, не по-современному элегантный. В один из ранних датских зимних вечеров у нас с ним состоялся короткий разговор в кафе Норден, что напротив фонтана с аистами на самом излете улицы Кларебодерн. Он сообщил мне, что ознакомился с моей недавней статьей на интересовавшую его тему и решил обменяться со мной кое-какой информацией. Я, со своей стороны, мог предложить ему совсем немного и вынужден был признаться, что в области тератологии являюсь неопитом. Он был удивлен, что мне, выходцу из Рио-де-ла-Плата, неизвестна версия, согласно которой последним пристанищем значительной части переписки Джона Уильяма Полидори якобы стал старинный особняк, принадлежащий одному из почтенных семейств Буэнос-Айреса, чьи предки некогда приехали из Англии. По расплывчатому описанию дома и упоминанию о его местонахождении – «рядом с Конгрессом» – я понял, о чем идет речь. Этот обветшалый особняк по странному стечению обстоятельств был мне хорошо знаком. Бесчисленное количество раз я проходил по улице Риобамба мимо двери нелепого дома, чей неуловимый викторианский стиль так не вязался с обликом города. Я

всякий раз поражался огромной пальме, которая – в самом центре Буэнос-Айреса – возвышалась над зловещим мезонином, равно как и решетке, враждебно и угрожающе отгораживавшей портал и способной в мгновение ока убедить любого бродячего торговца отказаться от мысли проникнуть внутрь.

По возвращении в Буэнос-Айрес я немедленно пересказал мою заморскую беседу другу и коллеге Хуану Хакобо Бахарлиа, который в нашей стране, вне всякого сомнения, является лучшим знатоком литературной готики. Он тут же предложил стать моим Хароном в этом путешествии по загробному миру, которое начиналось у дверей особняка на улице Риобамба. Сразу же скажу, что благодаря его адвокатской сноровке и писательским уловкам, нам, после длительных расследований, удалось добраться до так называемого архива Полидори.

Обещание хранить тайну не позволяет мне вдаваться в детали относительно того, каким образом мы, наконец, вышли на предполагаемые «документы». И если я прячусь за прилагательное «предполагаемый» и за осторожные кавычки, то лишь из-за самых искренних сомнений. Я бы не взялся утверждать ни того, что эти бумаги являются апокрифом, ни обратного – ведь, строго говоря, мне даже не пришлось подержать их в руках.

В действительности, во время визита в старый особняк я не видел ни одного оригинала: наш Амфитрион – прошу прощения за подобное сравнение – частично зачитывал, а частично пересказывал содержание многочисленных подшитых в папки листов – «слепых», почти нечитаемых ксерокопий. Подвал, в темных стенах которого проходила встреча, был столь тесен, что не мог вместить нашего удивления. Поскольку нам было запрещено сохранить хоть какое-нибудь материальное свидетельство, включая копии и записи, а дословной памятью я не располагаю, последующее является тщательной литературной реконструкцией. История, которая получилась в результате сведения воедино писем или их отрывков, оказалась не только фантастичной, но и непредсказуемой. До такой степени, что генеалогия *The Vampire* послужит всего лишь ключом, который позволит сделать другие невероятные открытия, имеющие отношение к самому понятию литературного отцовства.

Что касается меня, то я не придаю никакого значения тому, что документы могут иметь апокрифическое происхождение. В конечном счете, самое главное достоинство литературы – иной раз без трюизма не обойтись – в ее литературности. Кто бы ни был автором воссозданных здесь записок – участник событий, прямой или косвенный свидетель или просто

сочинитель – мы не сомневаемся, что речь идет о мерзком творении, сотканном чудовищным воображением, о месте которого в царстве уродства пусть судят тератологи. А если рассуждать о правде и уж, тем более, о правдоподобии событий, о которых пойдет речь, считаю своим долгом полностью подписаться под словами Мэри Шелли, взятыми из предисловия к ее «Франкенштейну»: «...я вовсе не хочу, чтобы можно было подумать, будто я хоть в чем-то разделяю подобную гипотезу, а с другой стороны, не считаю, что построив свое повествование на данном событии, я, как писатель, ограничилась простым нагромождением ужасов из области сверхъестественного».

Как бы то ни было, наша история начинается в Европе, на берегу Женевского озера летом 1816 года.

Вилла Диодати представляла собой прекрасный трехэтажный дворец. Вдоль его фронтона тянулась крытая галерея с дорическими колоннами, на капителях которых покоилась просторная терраса с парусиновым пологом. Архитектурную конструкцию венчала пирамидальная крыша с тремя слуховыми окошками. Слуга, суровый человек, никогда не говоривший ни одного лишнего слова, ожидал гостей под навесом парадного подъезда. Четверо прибывших вошли в холл, ступая перепачканными босыми ногами, держа обувь в руках, и, прежде чем слуга успел предложить им полотенца, скинули с себя всю одежду, оставшись абсолютно голыми. Мэри Шелли, обессиленная от смеха, рухнула в кресло и, схватив Перси Шелли за руку, притянула его к себе так сильно, что он упал на ее нагую возбужденную плоть, а затем сомкнула ноги за его спиной.

Клер разделась медленно, не проронив ни слова. Вопреки ожиданиям Байрона, она не приняла участия в общей вакханалии вожделения, напротив, была рассеяна и вела себя так, как если бы находилась в комнате одна. Она присела на ручку кресла, в то время как лорд Байрон не сводил с нее воспаленного взгляда. Кожа Клер была сделана из того же белоснежного материала, что и фарфоровые статуэтки, а профиль казался внезапно ожившей камеей. Ее поразительных размеров груди венчали розовые круги, которые, хотя и сжались от капелек воды и холода, все же превосходили размером открытый рот Байрона. Последний, обнаженный, упал на колени у ее ног и, тяжело дыша, стал ласкать языком ее мокрую кожу. Клер не оттолкнула его, даже нельзя сказать, чтобы она уклонилась. Однако, наткнувшись на ледяное равнодушие и упорное молчание своей подруги, не замечавшей его ласк, Байрон поднялся, развернулся на сто восемьдесят градусов и, очевидно стараясь сделать вид, что не замечает презрения, жертвой которого стал, по-прежнему нагой, положил руку на плечо слуги и прошептал ему на ухо:

– Мой верный Хам, мне не оставляют выбора.

Слугу, казалось, гораздо больше занимал беспорядок, учиненный в холле – разбросанная по полу одежда, намокшая обшивка кресел – нежели шутки хозяина, хотя, по правде говоря, Хам никогда не понимал, шутит лорд или говорит всерьез. В этот момент вошел Джон Полидори, на ходу снимая плащ, под которым его одежда осталась почти сухой. А поскольку он предусмотрительно шел только по мощеной дорожке, то и на его туфлях

не было ни следа глины. При виде открывшейся ему картины он не сумел скрыть гримасы пуританского отвращения.

– О, мой дорогой *Полли Долли*, все меня отвергли, и ты – явился как нельзя кстати, чтобы скрасить мое одиночество.

Джон Полидори со стоическим смирением мог терпеть самые жестокие унижения, научился пропускать мимо ушей самые беспощадные оскорбления, но ничего не мог поделать с приступами ненависти, которые его охватывали, когда его Лорд называл его *Полли Долли*.

Джон Уильям Полидори был тогда очень молод, но на вид казался еще моложе. Должно быть, некоторая духовная инфантильность придавала ему сходство с ребенком, что не вязалось с взрослым выражением его лица. Густые черные брови казались слишком суровыми по сравнению с мягким взглядом. Он по-детски не умел скрывать самые естественные порывы, такие как отвращение или восхищение, смятение или ликование, симпатию или зависть. Последнюю, наверное, менее всего. И, без сомнения, вспышка стыдливости, вызванная представшей его взору сценой, объяснялась исключительно ревностью, которую в нем вызывали новые друзья его Лорда. Он относился с подозрением ко всему, что хоть как-то касалось Байрона. И не то чтобы подобная опаска имела целью защитить своего Лорда, скорее Полидори стремился удержать его столь непостоянное благоволение. В конце концов, он был его правой рукой и по справедливости заслуживал благодарности. В данный момент Джон Полидори рассматривал трио этих чужаков с детской ревностью, но в глубине его наивных потемневших глаз бурлила магма ненависти, как всегда, готовая вот-вот вырваться наружу, злоба, столь непредсказуемая, сколь и безграничная.

Исключительно с целью внести хоть какой-то порядок Хам с отцовской властностью и деликатной решительностью похлопал в ладоши, призывая гостей встать. Затем, обращаясь с ними, как с детьми, проводил в комнаты, которые заранее отвел для них гостеприимный хозяин, лорд Байрон. Нагие и все еще мокрые, они пересекли большой зал нижнего этажа, поднялись по лестнице и вошли в темный длинный коридор, из которого вели двери в спальни. Сводные сестры заняли роскошную центральную спальню с двойной распашной дверью на втором этаже. Шелли поселился в соседней комнате справа, а Байрон – слева, причем обе комнаты сообщались с центральной.

Разместив гостей, Хам заметил, что в самом темном месте коридора, на расстоянии нескольких шагов, все еще стоит Джон Полидори. Слуга подошел к секретарю лорда Байрона и, оглядев его с головы до ног,

спросил:

– Доктору что-нибудь угодно?

– Мою комнату, – пробормотал Полидори, с глупой, нерешительной улыбкой протягивая свой маленький саквояж.

Слуга лишь небрежным кивком головы указал ему на лестницу.

– Вторая дверь, – обронил он и, развернувшись на каблуках, оставил Полидори с протянутой рукой, в которой так и болтался саквояж.

Естественно, между слугой и секретарем существует неизбежное соперничество, касающееся как их места в общественной иерархии, так и обязанностей. Однако Полидори обычно вызывал неподдельное презрение даже у тех, кто видел его впервые: пренебрежение, которому, с другой стороны, он сам, казалось, всячески способствовал. Он как будто находил утонченное удовольствие в жалости, которую испытывал к самому себе.

Маленькая комнатка, расположенная на последнем этаже, походила на темную нору, воздух в которую поступал через крохотное окошко, выглядывавшее, словно наблюдающий глаз, из черепичной кровли. Помещение находилось в точности над спальней Байрона, так что если бы Лорду понадобились услуги секретаря, ему было бы достаточно постучать в потолок длинным шестом, которым он заранее запасся с единственной целью – гонять Полидори вверх и вниз по лестнице.

Джон Полидори заканчивал переодеваться в сухую одежду, когда заметил, что на письменном столе лежит письмо. Строго говоря, он не сразу догадался, что нечто, лежавшее рядом с подсвечником, было письмом. Это был черный конверт, на оборотной стороне которого выделялась огромная пурпурная печать: в центре нее была выдавлена барочная буква *L*. Сначала он подумал, что это корреспонденция лорда Байрона и слуга по ошибке оставил ее здесь, однако, перевернув письмо, увидел выведенное белыми буквами имя адресата – «Доктор Джон У. Полидори». Появление письма в этом месте было необъяснимо, ведь о его недавнем прибытии на Виллу Диодати никто не знал. Прежде, чем вскрыть конверт, Полидори сбежал вниз по лестнице и отправился в служебную комнату, где дворецкий инструктировал кухарку о вкусах Лорда и его гостей.

– Когда пришло это письмо? – врываясь, спросил Полидори.

Слуга и бровью не повел, только испустил легкий вздох раздражения.

– Похоже, в Италии не принято стучаться, – сказал он кухарке, даже не взглянув на вошедшего. – Не имею ни малейшего понятия, о каком письме говорит доктор. С другой стороны, корреспонденция не входит в круг моих обязанностей. Это как раз дело секретаря. В любом случае могу лишь

сообщить доктору, что никаких писем не приходило. Конечно, если бы прибыла корреспонденция для меня, я бы просил господина секретаря известить меня, – заключил слуга и, не отрывая взгляда от щедро декольтированного бюста, высившегося перед его глазами, продолжил свои наставления кухарке.

Джон Полидори вернулся к себе и с заинтригованным видом осмотрел письмо. Наверняка этот диковинный черный конверт является таким же дурным предзнаменованием, как и ворон. Убедившись, что слуга здесь ни при чем, секретарь теперь спрашивал себя, кто мог оставить конверт на столе. Он был также уверен, что от новых друзей его Лорда можно было ожидать лишь глухого равнодушия, и никто из них не стал бы оказывать ему любезность, доставляя письмо. Не годилось и предположение о том, что Байрон выступил в роли секретаря своего секретаря и принес письмо в его комнату. Самым разумным было вскрыть конверт, прочитать письмо и таким образом прояснить эту маленькую тайну. Однако прагматизм не числился среди достоинств Джона Полидори. Любой пустяк становился для него поводом для сложнейших догадок и предположений, и он верил в осуществление самых мрачных предзнаменований. Он был не из тех, кого ужасает бессмысленность существования, напротив, его мучил другой недуг. Любому явлению он приписывал тайный смысл, мир представлялся ему враждебным заговором против его собственной персоны. Ему даже пришла в голову суеверная мысль не открывать конверт и немедленно бросить его в огонь. Это письмо, несомненно, было из числа самых черных знаков. Возможно, в первый и последний раз в своей жизни он не ошибался, и судьба Джона Уильяма Полидори сложилась бы иначе, если бы он так и не открыл этого зловещего черного конверта.

Женева, 15 июля 1816

Др. Джон Полидори:

Наверное, Вас удивит это письмо, вернее, то, что Вы получаете его сразу по приезде. Мне хотелось первой поприветствовать Вас. Не спешите заглядывать в конец послания, чтобы установить имя автора: Вы меня не знаете. Но Вы даже не догадываетесь, насколько хорошо Вас знаю я. Прежде чем читать дальше, поклянитесь никому не говорить о моем письме; отныне от Вашего молчания зависит моя жизнь. Я уверена, что Вы сохраните тайну, поскольку с той минуты, что Вы прочли даже эти первые строки, Ваша собственная жизнь полностью зависит от моей. Неподумайте, будто я Вам угрожаю, напротив, я намерена быть Вашим ангелом-хранителем в этих жутких местах. При других обстоятельствах я бы посоветовала Вам немедленно уехать. Но теперь слишком поздно. Я здесь против моей воли, и за те несколько месяцев, что я провела в этих краях, мне не было никакой радости, если не считать Вашего приезда. Нынешнее лето выдалось особенно мрачным, ни одного солнечного дня. Здесь никогда не было столь пустынно. Скоро Вы сами убедитесь в том, что даже птицы улетели отсюда. Меня стал преследовать страх. Даже я сама порой кажусь себе чужой и опасной. Я, которая – не сочтите за бахвальство – никогда ничего не боялась. Так вот, в последнее время стали происходить странные вещи. В округе воцарилась смерть: озеро превратилось в кровожадное животное. С начала лета оно безжалостно поглотило три баркаса, от которых не нашли ни единой щепки. Они буквально сгинули в его темной утробе, а об их пассажирах до сих пор ничего не известно. Три дня назад неподалеку от Шпионского замка обнаружили два изуродованных тела. Я видела их собственными глазами. Это были два молодых мужчины, почти Ваши ровесники, проживавшие неподалеку от Вашего нынешнего пристанища. Мне неизвестно, были они живы или мертвы, когда оказались на противоположном берегу Женевского озера. Но более всего меня терзает подозрение о моей собственной причастности к этому ужасному происшествию. Впрочем, не волнуйтесь, я постепенно оправляюсь.

Ваш долгожданный приезд действует на меня успокаивающе. И не потому, что я возлагаю на Вас какие-то надежды (по крайней мере, не сейчас), но потому, что сама мысль о том, что я могу предоставить Вам

свою защиту – а она Вам без сомнения понадобится – возвращает мне толику собственного утраченного достоинства.

Если Вы сейчас оторвете взгляд от письма и посмотрите в окно, то увидите противоположный берег озера. Теперь попробуйте различить далекие трепещущие огоньки на вершине самой высокой горы. Там я сейчас и нахожусь. Когда Вы будете читать эти строки, я буду смотреть на Ваше окно.

Джон Полидори оторвался от письма. Последняя фраза привела его в дрожь. Он подошел к окну, протер рукой запотевшее стекло и посмотрел вдаль. За нависшей над озером пеленой косо дождя с трудом угадывались горы, вершины которых терялись в потемневшем небе. На другом берегу теплились два огонька. Полидори задул свечи, освещавшие письменный стол. Буря была столь сильной, что комната погрузилась почти в кромешную тьму. Взглянув еще раз в окно, он обнаружил, что один из огоньков уже погас. Некоторое время он стоял в полутьме, вглядываясь в непогоду. Затем он снова зажег свечи, и в ту же секунду, как по мановению его собственной руки, на противоположном берегу снова вспыхнул огонек. Этот первый, столь неожиданный диалог привел его в ужас. В Джоне Полидори поселилась тревожная уверенность в том, что за ним следят.

С нижнего этажа доносился приглушенный смех Мэри и Клер. Просачивался приторный аромат полыни, табачного дыма и турецких пряностей – смесь, от которой Полидори успел отвыкнуть и которая всегда вызывала у него непреодолимые приступы тошноты. Он машинально открыл окно, но под воздействием суеверного страха немедленно закрыл его. Внезапно весь царственный пейзаж по ту сторону окна, коронованный снежной вершиной Монблана, вся эта великолепная панорама, покрытая прозрачным саваном дождя, сжалась до размеров маленького огонька, который, подобно глазу циклопа, наблюдал за ним с вершины горы. Словно вопреки своей воле, Полидори снова взялся за письмо.

Я расскажу Вам о себе. Но, прежде чем начать, должна предупредить, что, возможно, открою Вам тайну, к которой Вы не готовы. Надеюсь, что профессиональное хладнокровие врача возьмет верх над Вашей завидной молодостью. Вы не можете себе представить, как для меня важно то, что Вы сейчас читаете эти строки. И тем более не подозреваете, какой груз – довлевший надо мной всю мою долгую жизнь – снимаете с моих плеч. Вас, наверное, удивит, что Вы – кроме моей семьи, если ее позволительно так именовать, – первый и единственный, кто узнал о моем существовании. Впрочем, я до сих пор не представилась. Меня зовут Анетта Легран. И хотя Вы очень молоды, думаю, что не ошибусь, если предположу, что и до Вас дошли слухи о моих сестрах Бабетте и Коlette.

Действительно, Джон Полидори не только слышал о сестрах-близнецах Легран, но, насколько мог припомнить, имел возможность лично встретиться с ними в доме некой мисс Мардэн или – он не был уверен – на одном из тех скандальных приемов, которые давала подружка его Лорда, актриса труппы *DruryLane*. В любом случае, сестер Легран он помнил совершенно отчетливо. Тогда на Джона Полидори эти две – к тому времени уже покинувшие сцену – актрисы произвели исключительное впечатление. Все отмечали не только их невероятное сходство, но и неправдоподобную синхронность всех их движений и реакций: они не отдалялись друг от друга больше, чем на шаг, смеялись над одними и теми же шутками и скучали во время одних и тех же разговоров; обе обладали врожденной способностью перебивать анекдоты в момент их кульминации и вообще, казалось, в них жила общая, единая душа. Но более всего в них поражало

нескрываемое сладострастие, с которым они рассматривали любого мужчину, оказавшегося в их поле зрения. Они без тени стыда вонзали взор в наиболее многообещающие выпуклости между мужскими ногами и неотрывно провожали глазами – в случае необходимости беззастенчиво поворачивая голову – потенциального «кавалера». В подобных случаях они что-то шептали друг другу на ушко и смеялись нервным, взволнованным смехом, не скрывая охватившего их возбуждения. Казалось, они совершенно не заботились о том, чтобы развеять ходившие о них сплетни, которые обретали как форму слухов, шепотом передававшихся из уст в уста, так и более зримый облик – оскорбительные надписи на дверях общественных уборных. Полидори даже вспомнил, как в одной из газетных статей появился неологизм «легранский» применительно к поведению некой дамы, чья репутация стала вызывать сомнения. По крайней мере, Лорд к слухам о его возможной близости с сестрами относился с высокомерным достоинством и на публике вел себя абсолютно безупречно. «Клевета слишком грязна, чтобы пренебрегать ею», – как-то недавно сказал он, когда в коридорах *Hoteld'Angleterre* ему встретился один разъяренный господин, который заявил, что Байрон и его «растленные друзья» представляют собой «общество кровосмесителей, наносящих оскорбление Короне». Сестры Легран, напротив, не придавали ни малейшего значения формальностям.

Полидори вспоминал. Его взгляд будто блуждал в неведомых далях, не принадлежащих этому миру. Но хотя казалось, что его глаза не видят ничего, кроме смутного пейзажа памяти, они были по-прежнему прикованы к огоньку на вершине горы. Джон Полидори положил письмо на маленький столик и несколько раз прошелся туда и обратно по комнате, как будто где-то здесь, в ней, можно было найти разгадку. Внезапно его озарила одна мысль: опершись локтями на подоконник и подперев кулаками подбородок, он выглянул в окно. Он долго разглядывал длинную цепочку огней, тянущуюся вдоль озера. Сама невозможность сосчитать их подсказала правильное решение: одни из них вспыхивали, другие гасли, некоторые, прежде чем исчезнуть, слабо мерцали или просто были крохотными дрожащими отражениями в воде. Если в этот самый момент, сказал он себе, ему придет в голову задуть свою свечу, то в ту же секунду, исключительно по воле случая, один из тех огней, которые он сейчас наблюдает, непременно погаснет.

Впрочем, задуть свечу и не понадобилось: огонек, посылавший робкий сигнал с вершины горы, угас. Полидори улыбнулся. Смешной глупец! Просто его Лорд задумал поиздеваться над его суевериями. Секретарь решил удвоить ставку, чтобы проверить гипотезу. Он сказал

себе, что, если прямо сейчас зажжет свечу, которую погасил несколько мгновений назад, то наверняка там вдалеке из ничего вспыхнет какой-нибудь другой огонек. И действительно, вскоре на западе снова появилась мерцающая точка. Все это, конечно, было нелепым розыгрышем, который сплели две маленькие гарпии. Раскаты смеха, раздававшиеся внизу, были тому лучшим подтверждением. Теперь все стало ясно: они заручились содействием слуги, который и подкинул ему в комнату письмо. Более того, ему пришло на память, что накануне вечером, перед отъездом в Женеву, все четверо обсуждали отрывки из этого ужасного романа Мэтью Льюиса *The Monk*, и при этом, видя, что Полидори не может скрыть своего страха, веселились еще больше и в издевку рассказывали все более и более мрачные эпизоды. Скорее всего, письмо, которое сейчас сжимают его большой и указательный пальцы, написала либо Мэри, либо Клер. И подобно огонькам, что загорались и гасли на том берегу, не подчиняясь ничьей посторонней воле и логике, точно также и тот, что вспыхивал на вершине горы, – сказал он себе – угас по чистой случайности. Джон Полидори сложил письмо вчетверо и решил спуститься вниз, чтобы положить конец шутке. Однако, прежде чем покинуть комнату, чтобы еще раз убедиться в собственной глупости и в несостоятельности всего фарса, он взял свечу, поднес ее к окну и, используя конверт в качестве своеобразного экрана, поместил его между стеклом и пламенем, заслоняя свет сначала через три коротких интервала, а затем – через один длинный. Прюделав это, он стал всматриваться в противоположный берег. Затем громко рассмеялся над своей наивностью. В ту самую секунду, когда Полидори уже собрался повернуться спиной к окну и выйти из комнаты, он четко увидел, как далекий огонек на вершине горы погас и снова зажегся – сначала через три коротких, а затем через один длинный интервал.

На какую-то долю секунды Джон Полидори предположил, что у него внезапно помутился разум и что все это: и необъяснимое появление письма, которое, как ему кажется, он сжимает в руке, и загадочная переключка огоньков, и якобы адресованные ему мрачные угрозы, – не более чем плод воспаленного воображения. Тогда к чему – спросил он себя – предаваться терзаниям, продолжая читать злое письмо, порожденное его собственным помутившимся разумом, если весь чудовищный спектакль, протекающий перед его взором, срежиссирован его, доктора Полидори, помешательством. Конечно, подобное предположение не могло утешить, напротив, сама мысль о возможном сумасшествии пугала еще больше. Поэтому он снова принялся за чтение, теперь уже лелея надежду найти доказательства, которые опровергли бы жуткое предположение.

Сразу хочу предупредить: не мните меня такой же красавицей, как мои сестры. Вам первому выпало узнать, что сестры Лэгран – не двойня, а тройня. Причин хранить эту тайну более чем достаточно. И вот почему.

Возможно, это был раздвоившийся позвонок одной из моих сестер, тератома, выросшая под покровом ягодичной мышцы, один из тех наростов, которые можно удалить и которые имеют вид недоразвитого плода: пучок волос, ногти и зубы. В Вашей практике Вы наверняка сталкивались с чем-то подобным.

Джон Полидори отвел глаза от письма. Его ладони вспотели, бумага дрожала в такт взвинченному пульсу. Казалось, прочитанные слова опередили его собственные мысли. Действительно, не успел он дочитать до конца слово *тератома*, как в его памяти невольно всплыли воспоминания о студенческих годах. Сколько ни пытался, он так и не смог избавиться от страшного видения – склянка, внутри которой в спирту плавал отвратительный отросток размером с кулак, изъятый из спины какой-то старухи. Полидори всегда считал себя трусливым ипохондриком, не способным служить своему делу с тем мужественным хладнокровием, которым должен обладать врач. И это письмо было еще одним болезненным напоминанием. Как наяву, он представил себе условно антропоморфное существо с проросшими сквозь плоть косточками, напоминавшими зубы; этакого старичка-зародыша, поросшего седыми волосами, такими же, как и у миссис Уайноны Оруэл, той самой

пациентки, у которой была удалена опухоль. Он так и видел, как его учитель, доктор Грин, со зловещим видом держит на ладони тератому и, вперив в него жестокий взгляд, повторяет глухим голосом:

– Мистер Полидори, дайте вашу руку.

Бледный, на грани обморока, юный студент Полидори, как ребенок прячет руки за спиной.

– Мистер Полидори, – повторяет со спокойной холодной улыбкой доктор Грин, – протяните руку или покиньте аудиторию навсегда.

И тогда, изо всех сил зажмурив глаза, он протянул руку и тут же почувствовал в своей ладони липкое, скользкое существо, напоминавшее мертвого червяка.

– Мистер Полидори, позвольте представить вам мистера Оруэла, вашего первого пациента. Вверяю его в ваши руки, – сказал профессор Грин под аккомпанемент нервных и злобных смешков сокурсников.

Профессор Грин отвернулся, приблизился к больной, которая лежала на операционном столе демонстрационного зала, и нарочито официальным тоном произнес:

– Миссис Оруэл, познакомьтесь с вашим младшим братом.

При этом, когда он указывал на существо, лежавшее в дрожащей руке студента Полидори, его лицо не покидала улыбка.

Миссис Оруэл, престарелая бездетная вдова, жившая в одном из нищих приютов Ливерпуля, приподнялась на локтях, проследила за жестом доктора слезящимися глазами и наивно спросила:

– Он жив?

Профессор Грин разразился средневековым хохотом, а вслед за ним и все его ученики. Студент Полидори не смог сдержать рвоту, после чего упал навзничь.

Тем не менее, дорогой мой доктор, к умилению одних и к ужасу других, случаю было угодно, чтобы новообразование, зародившееся в ягодице Бабетты, обрело отдельное, независимое существование и в конце, концов превратилось в то, чем я на сегодняшний день являюсь. Др. Полидори, я прекрасно понимаю, что, если не по сути, то по своей этимологии тератома значит *teratos*, то есть чудовище.

Я и есть – притом не в метафорическом, а в самом прямом смысле слова – чудовище. Я даже не могу претендовать на то, чтобы меня причислили к одному из подвидов тех уродцев, которых родители оставляют на церковных ступенях или у монастырской ограды. Некая химическая патология, неведомый физиологический каприз превратили меня в нечто аморфное. Я, можно сказать, продукт отхода моих сестер. У животных, др. Полидори, по крайней мере, существует благородный обычай убивать больных детенышей.

Вполне закономерно, что, беспощадность биохимии, определившей мой облик, сотворила и душу по образу и подобию тела, в котором она обитает. Не говоря уже о моих врожденных, диких повадках – ими я скорее похожу на зверушку, нежели на женщину – во мне нет ничего, что можно было бы определить как утонченность. Любое из чувств, которым прочие смертные дают волю лишь изредка, стыдливо, тайно, под покровом ночи, изливаются из моей души дико, необузданно, произвольно и открыто, сметая все социальные условности. Я поступаю по велению первобытных инстинктов. И в этом последнем, Ар. Полидори, мы, наверное, с Вами похожи. Я существо необузданное, чувственное и никогда не взвешиваю последствий, которыми может обернуться то, чего я желаю, или, лучше сказать, последствий того, чем я стремлюсь завладеть. И тем не менее, я всего лишь на треть воплощаю то чудовище, которое не всилах породить ни человеческий, ни божественный разум. Я не верю в тайную мудрость, которая управляет природой. Не поддавайтесь на обманы пошлых поэтов, описывающих буколические радости. Красота – не более чем внешняя оболочка ужаса, и она неизбежно нуждается в смерти: самый прекрасный цветок уходит корнями в зловонную гниль. Я не буду терять время на унизительное воссоздание автопортрета; просто представьте себе самое отвратительное существо, которое Вам приходилось видеть, а затем

умножьте это уродство на сто.

Джону Полидори не понадобилось особо рыться в памяти, чтобы вспомнить самое уродливое существо, какое ему пришлось увидеть за свою жизнь. Незнакомка как будто подглядела его самые тягостные воспоминания. Полидори с содроганием вспомнил один из самых мучительных эпизодов своей короткой жизни. Перед ним предстал зловонный *AbnormalCircus*, глухие подвалы которого были удостоены жуткой чести стать подмостками чудовищного парада: крохотные карлики с горбами, подобными горам, когти вместо ногтей, пустые провалы глазниц, ампутированные или просто от рождения отсутствующие руки и ноги, звериное рычание, дикий хохот, глухие стоны, душераздирающий плач, невиданные болезни, несоразмерно огромные головы, мольбы о помощи. Наполовину прирученные – одни из них покоровившиеся кнуту и ремням, другие, продолжавшие бунтовать против цепей и кандалов, – они двигались под грубые окрики и жестокие удары своих «укротителей», вырядившихся в ливреи с золочеными пуговицами. Они шли беспорядочной гурьбой по узкому, вонючему коридору, который вел в подземелье. Эти двадцать пять *freaks*, привезенные со всех частей света в смрадных, тесных трюмах самых грязных кораблей, были заточены в подвалы *AbnormalCircus*, чтобы впоследствии пойти с молотка на публичных торгах. А для того, чтобы окончательно лишить их малейшего сходства с людьми, их одели и раскрасили самым экстравагантным образом. Доктор Грин именно там проводил в качестве «обязательной практики» свое последнее занятие по патологии. Как утверждал сей кровожадный ученый муж, ежегодные торги, проводившиеся в *AbnormalCircus*, представляли собой неповторимый каталог жизненных форм, уникальную возможность напрямую наблюдать *pathos*, недоступную в обыденной клинической практике. Джон Полидори помнил, как доктор Грин с видом «лабораторного» экспериментатора-аукциониста выставил перед аудиторией насмерть перепуганную женщину, в которой было не больше полуметра роста. Вместо глаз у нее было два мертвых белых шара, сквозь которые никогда не проникал свет. Чтобы доказать полную слепоту «пациентки», профессор достал и зажег спичку перед самым ее лицом. Женщина не обнаружила никаких рефлексов, пока пламя не приблизилось к коже. Тогда она скорчилась от боли и издала гортанный звук, глухой стон, исходивший, казалось, из глубин пещеры. Доктор Грин пояснил, что, если «пациентка» и слепа, то явно обладает тактильными рефlekсами. В подтверждение своих слов он сразу же взял перо, с которого еще свисала капелька чернил, и вонзил его в подушечку одного из ее пальцев – спина

«пациентки» изогнулась дугой, а левая нога задрожала. Маэстро объяснил, что нервы кончиков пальцев напрямую связаны с ножными. Чернила смешались с кровью. Женщина мотала головой справа налево, как если бы имела представление о грехе и милосердии и вопрошала – за какое преступление несет подобное наказание; и, судя по ужасу, застывшему на ее лице, молила о пощаде. Доктор Грин задался вопросом, что в настоящий момент может переживать «пациентка», принимая во внимание ее слепоту, глухоту и немоту. Он посоветовал поразмыслить над этой загадкой своим перепуганным ученикам. В этот самый момент раздался глухой, замогильный голос, источник которого был неясен из-за полутьмы, царившей в подземелье:

– Устами скольких немых говорят с нами мертвецы из глубин своих могил?

Доктор Грин обернулся и, никого не увидев, поднял свечу и сделал несколько шагов. Из темноты выступила огромная фигура. Громоздкое, гороподобное тело венчала несоизмеримо маленькая голова. Лицо несло отпечаток безмятежной и безграничной тоски. Щиколотка была опутана толстой цепью, к которой крепился железный шар.

Профессор Грин невозмутимо начал описывать специфику *пафоса* неожиданного явления. Вдруг исполин протянул руку, и череп профессора Грина скрылся под гигантской ладонью. Изумленные ученики увидели, как чудовище подняло тело профессора, отвело руку в сторону, затем разжало пальцы – и маэстро рухнул замертво. Нежданный гость прошествовал среди впавших в оцепенение студентов, подошел к женщине, с материнской нежностью взял ее на руки, переступил через корчившегося в судорогах доктора Грина и снова скрылся во тьме.

Я уже говорила, что являюсь лишь одной третью чудовища. Похоже, все качества поделены между нами в обратной пропорции. Громкой славе сестер противостоит моя полная безвестность. Их несравненной красоте – моя безмерная уродливость. Их фривольной глупости – невыносимое бремя ума, который преследует меня наподобие болезни (и не подумайте, что это последнее замечание продиктовано гордыней, поскольку вижу в том не достоинство, но скорее его противоположность). А их чрезмерную болтливость – граничащую с грубостью, потому что порой кажется, что они просто не в состоянии не перебить любого собеседника, – уравнивает моя вынужденная немота. Если им недостает деликатности, то я слишком предаюсь угрызениям совести, как если бы была вынуждена взять на себя весь груз их жестоких преступлений, будто мне мало собственного раскаяния, а ведь – теперь пробил час исповеди – я отнюдь не считаю себя невиновной.

Мой дорогой доктор, Вы первым узнали о моем существовании; и если бы познакомились со мной лучше и сравнили с моими сестрами, то, возможно, пришли бы к заключению, что в мире наподобие богатства накоплено определенное количество красоты, которая, как и все остальное, распределена несправедливо. За каждый участок чистой, нежной, благоухающей кожи моих сестер, за каждую из их стянутых пор, я вынуждена расплачиваться непроходящими нарывами, жировиками, фурункулами и зловонными язвами. За каждый их белокурый, витой волосок я могу рассчитаться своими серыми, траченными мышами лохмами, сквозь которые просвечивает сальная кожа, покрытая струпьями. С тех пор, как мы научились говорить, они всегда проявляли склонность высказываться одинаково, что заставляло предполагать сходство их мыслей, если так можно назвать то, что движет их языками.

То, о чем я поведаю Вам далее, несмотря на всю свою скабрёзность, не имеет иной цели, нежели оберечь Вас. Вы, наверное, сейчас спросите себя, от кого. Скажу сразу: от моих сестер и, конечно же, от меня самой. Вы, несомненно, зададите себе и другой вопрос: от чего Вас надо оберегать.

Дорогой др. Полидори, не думайте, что моя чудовищность состоит исключительно в чрезмерном уродстве. Нет. Я осведомлена о Ваших широких познаниях. И Вам, конечно, известно, что есть люди, которые

существуют за счет потребления «части» себе подобных, даже если при этом идут на убийство. Знаете мрачную историю о графине Батори, которая, как говорят, чтобы сохранить молодость, пила кровь своих жертв. Возможно, именно этим графиня оправдывала извращенное удовольствие, которое она получала при виде крови своих молодых служанок, равно как и смертельные пытки, которым она их подвергала.

Так вот, милый др. Полидори, так уж случилось, что у Вас есть «нечто», от чего зависит моя жизнь и жизнь моих сестер. Выдаже не представляете, чего мне стоит противостоять искушению. Однако если мы не получим «того», чем Вы располагаете, то уже в ближайшее время окажемся на грани смерти.

Впрочем, на сегодня будет благоразумнее покончить с признаниями. Я и так сказала слишком много и растратила много сил. Этому лету суждено быть долгим. Я же на время прощаюсь с Вами и молю об одном: берегите себя.

Анетта Легран

На грани отчаяния, Джон Полидори быстро припомнил все, чем он располагал. Его достояние исчерпывалось скудными сбережениями, которые удалось скопить с жалования, аккуратно выплачиваемого его Лордом. Недвижимости у него не было: отец оставил ему в наследство только врожденную покорность и жалкую участь постоянно быть в услужении. Как и его родитель, Гаэтано Полидори, бессменный секретарь поэта Витторио Альфиери, он был обделен даром слова и вместо сладостного пения муз был обречен внимать суровому голосу своего Лорда, чье вдохновение, казалось, опережало перо.

Единственное чем он владел, была глухая, разрушительная зависть. Сколько раз, переписывая неизданные произведения Байрона, он гнал от себя мысль о плагиате. В чем же состояло его богатство? У него не было ничего такого – ни материального, ни духовного, – чем не располагал бы любой другой, самый ничтожный смертный.

Над Монбланом, терявшимся заснеженной вершиной в облаках, вставали желтовато-серые сумерки. Женевское озеро походило на смятый луг. Солнце, с трудом различимое бледное пятно, источало холодный свет, который почти осенними красками расцвечивал рыжую черепицу, зеленые кроны тополей, бурые утесы и охристый песок. Хлестал дождь. Он, не переставая, шел всю ночь.

Джон Полидори спал беспокойным, неровным сном. Он то и дело приближался к той зыбкой грани, что отделяет забытье от бодрствования, переступая порог, за которым бред обретает материальность, а реальность становится расплывчатой тенью. Причудливое сочетание грез и были оформилось в два убеждения. Первое – что вечером, прежде, чем заснуть, он на едином дыхании написал рассказ, содержание которого не мог припомнить, но достаточно открыть глаза, и на столе будет лежать рукопись – неопровержимое и умиротворяющее доказательство произошедшего. Второе заключалось в том, что его преследовал навязчивый кошмар о якобы полученном письме, содержание которого как раз прочно засело в памяти. Дурной сон. Ничего более. И Полидори возрадовался обоим фактам. Он сладостно потянулся и выгнул спину. Затем позволил себе сладостную и заслуженную ласку – почесал голову и накрутил на указательный палец прядь волос. На уголках губ заиграла легкая, едва уловимая улыбка. Он написал совершенный рассказ. Он припомнил разговор, который вел со своим Лордом несколько дней тому назад. Тогда он пытался доказать Байрону, что между ними нет никакой разницы. Теперь, уже улыбаясь во весь рот, он вспомнил ответ его Лорда:

– Мне доступны три вещи, которые тебе не под силу: переплыть реку, с двадцати шагов погасить выстрелом свечу и написать книгу, четырнадцать тысяч экземпляров которой разойдутся в один день.

Меньше всего Полидори волновала физическая ловкость. Но книга, завершенная им всего несколько часов назад, – тут не было никаких сомнений – переживет хрупкую славу его Лорда. Критики были правы. Как писатель, Байрон был посредственностью, обязанной своей известностью исключительно интрижкам, которые он создавал вокруг своего имени. Напротив, людям масштаба Джона Полидори – увещевал себя секретарь – предуготован мраморный пьедестал славы. Его же собственное творение продается не только в один день, но и тиражом не в четырнадцать, а в

двадцать восемь или во все тридцать тысяч экземпляров. Он проснулся, радостный и счастливый, взбодренный собственной уверенностью.

Однако за тот краткий миг, который понадобился Джону Полидори, чтобы разомкнуть веки, он разоблачил свой добровольный фарс, тот приятный, но эфемерный обман, что порой нам навевают сны.

Безутешный, он метался по комнате из угла в угол. В испарине злобно комкал в руках письмо Анетты Легран, гоня прочь мрачные эпистолярные пророчества и стараясь удержать в памяти содержание приснившегося рассказа. Но чем больше он пытался ухватить нить повествования, тем быстрее она испарялась из его памяти. Он надеялся сохранить хоть малейший след, слабейший отпечаток, который затем выведет его на правильный путь. Схватился за перо – и обнаружил, что не может поймать за хвост ускользающую стремительную комету. Пустота. Приснившийся сюжет ушел, как вода сквозь пальцы. Пустота. Полидори погрузился в перевозданное, беспощадное отчаянье. Если утрата дорогой вещи или, хуже того, любимого человека и непоправимы, то хотя бы отчасти, не до конца, могут быть восполнены тоской, сладостно томящей ностальгией; теперешняя потеря была не просто расставанием со своей самой сокровенной мечтой. Он не мог найти утешения даже в воспоминании.

В подобном состоянии духа он вышел из комнаты.

Байрон проснулся в прескверном настроении. На лице застыла кислая мина, лоб прорезала гневная складка. Встретив в гостиной секретаря, он не перемолвился с ним ни единым словом. Более того, не обратил никакого внимания на приветствие Хама. Он проследовал прямо на террасу и стал созерцать дождь.

Полидори, злясь на самого себя, пытался вспомнить приснившийся рассказ. Едва в его сознании забрезжил малейший свет, как за спиной раздалось радостное и громогласное «доброе утро». С легкостью и грацией газели Перси Шелли пересек гостиную и двинулся навстречу Байрону. Придвинул стул и сел рядом с другом. Полидори и не догадывался о чудесном воздействии, которое производит на его хозяина молодой приживал, скорее обладавший повадками и привычками плебея, нежели изысканными манерами, которые Байрон так высоко ценил. При подобных обстоятельствах и учитывая состояние духа, в котором пробудился его Лорд, кто угодно, посмей он нарушить уединение хозяина, неминуемо подвергся бы наиболее унижительному наказанию. Вопреки всему, наблюдая за сценой, которая разворачивалась в гостиной, можно было заметить, как лицо Байрона во время разговора с Шелли постепенно разглаживается, а на губах проступает улыбка. Полидори всем сердцем ненавидел пришельца и более всего за то, что он нарушил воспоминание о сне именно тогда, когда он почти начал всплывать в памяти.

Мэри проснулась около полудня. Она была обеспокоена – так она и сообщила Шелли – здоровьем Клер, которая на протяжении всей ночи разговаривала во сне. Перси Шелли, казалось, был в курсе. Мэри не стала передавать слова сводной сестры, но явно дала понять, что далее не намерена делить с нею комнату. Она говорила вполголоса, как будто старалась, чтобы ее не услышал Байрон. Полидори, стоявший за дверью, оказался невольным свидетелем разговора. Клер отказывалась покидать постель. Она отвергла завтрак и обед. Перси Шелли выглядел скорее усталым, нежели обеспокоенным. С каждой минутой он все более убеждался в том, что втянуть Клер в авантюру с побегом было настоящим безумием. Перси Шелли спланировал и подготовил побег с Мэри, дочерью своего учителя Уильяма Годвина. Поскольку ему не хотелось признаваться в предательстве, он всячески старался оправдать свое отступничество перед учителем. В его глазах Годвин перестал быть тем мудрым еретиком,

который некогда написал *Исследование о политическом праве*. Он перестал быть поборником свободы брака и даже свободы сожителства мужчины и женщины – причина, по которой он никогда не жил под одной крышей с матерью своей дочери. Нет, он стал своей полной противоположностью: семьянином, более того, состоящим во втором браке, да еще вдобавок с сущей гарпией, госпожой Клэрмон – матерью Клер – кругозор которой ограничивался стенами кухни. Как же он мог пограть память Марии Вольстонкрафт? Как можно поставить рядом блистательного автора *Защиты прав женщин* с этим домашним животным, самое существование которого было вызовом женственности? Нет, Годвин больше не был тем бунтарем, который ратовал за социальные перемены; он превратился в писателя для детей и половозрелых отроков. Вот почему, думал Шелли, похитить дочь своего старого учителя не было предательством. Напротив, именно так можно было вернуть ему ученический долг, напомнить прежние уроки, обелить его имя, пробудить от интеллектуальной спячки. Но ни он сам, ни Мэри не могли предположить, какую ошибку они совершат, втянув Клер в затянувшееся бегство, которое началось более двух лет назад в Сомерс-Тауне. Позади остались Довер, Калэ и Париж. Они уже не были беззаботной троицей, что мимоходом миновала Труа, Вандувр и Люцерну. Шелли, невзирая на свою юность, душою был дряхлым старцем; Мэри, казалось, страдала душевным расстройством, а Клер уже давно стала помехой для влюбленной парочки. Она явно не обладала ни одним из достоинств, украшавших ее отчима, зато с избытком унаследовала пороки своей матушки, госпожи Клэрмон. Клер была своего рода навязчивым кошмаром: ее хрупкое здоровье и, более того, переменчивый рассудок, который порой, казалось, полностью покидал ее, превратили путешествие в сущий ад, и пребывание на Вилле не предвещало ничего хорошего. С другой стороны, Байрон как будто вовсе не стремился избавиться от Клер, ее общество даже забавляло его, однако не настолько, чтобы постоянно терпеть ее рядом. Строго говоря, и сам Байрон все чаще с трудом скрывал свое раздражение по отношению к Клер. Блеск ее красоты, некогда ослепивший его, постепенно стал меркнуть на фоне духовного убожества и тем более скудоумия, которое в последнее время просто бросалось в глаза. Сколько бы Байрон не обманывался, он больше не мог скрывать от самого себя, что единственное качество Клер, некогда прельстившее его, состояло в чувственности, граничащей с нимфоманией, от которой теперь, похоже, не осталось и следа.

Завтрак прошел в молчании. По какой-то загадочной причине, после приезда на Виллу Диодати никто не остался прежним. Полидори не мог

избавиться от впечатления, что от него что-то скрывают, хотя, по правде говоря, это подозрение никогда не оставляло его, независимо от обстоятельств или окружения. Возможно, теперешнее его ощущение было порождено не чем иным, как его собственными секретами, ведь, как раз он, Полидори, скрывал нечто существенное. Беспристрастный же наблюдатель, напротив, сказал бы, что все друг от друга что-то таят. Напряженное молчание, висевшее над столом, было нарушено прибытием лодки; сидевшие за столом увидели, как она швартуется к молу. Четверо сотрапезников попытались скрыть свое беспокойство. Полидори побледнел.

Хам вышел навстречу посетителю, который уже высадился на сушу и под дождевыми струями направился по тропинке, что вела к Вилле. Через несколько минут Хам вернулся в гостиную и доложил:

– Префект Мишель Дидье желает побеседовать с Милордом.

– Пусть войдет, – не скрывая любопытства, приказал Байрон.

Дидье был шарообразным мужчиной с красными щеками. После ходьбы он слегка задыхался и когда говорил, к его голосу в качестве постоянного монотонного сопровождения примешивался пронзительный астматический присвист. Первым делом префект заявил Байрону и его друзьям, что от всей души приветствует их, а также желает им провести время наилучшим образом, хоть, к сожалению, погода, в чем, впрочем, они сами уже имели возможность убедиться, суцая беда. Это был продолжительный и высокопарный монолог. Несмотря на то, – сказал он, – что ему известно, что высочайший гость прекрасно плавает и гребет, он считает своим долгом предостеречь, что в настоящих климатических условиях чрезвычайно опасно пускаться в плаванье по озеру. Ему не хотелось бы присваивать лавры Гомера, но он не может умолчать о том, что водная пучина поглотила уже три лодки. Затем он неожиданно оставил серьезный тон, улыбнулся и сообщил, что его позабавило известие о переполохе, который вызвало пребывание Лорда в *Hoteld'Angleterre*, и что, по его личному убеждению, наимудрейшим из всех решений было обосноваться на Вилле Диодати, служившей источником вдохновения другому поэту, чьего имени он сейчас не припомнит, но который, вне всякого сомнения, померк бы рядом с талантом Байрона, чье произведение – это уж точно! – имеется в его библиотеке, и хотя названия его он тоже не помнит, как ему говорили, стихи исключительно великолепны, чему он верит на слово, потому что – по правде говоря – пока еще не нашел времени, чтобы их прочитать, однако, невзирая на данное обстоятельство, никогда не простит себе, если позволит Лорду покинуть Женеву без того, чтобы получить автограф на упомянутой книге, которую, к величайшему сожалению, уходя из дома, не захватил с собой. У Байрона создалось впечатление, что префект окончательно запутался и не знает, как выйти из положения. Боясь быть неверно истолкованным, он все больше и больше усложнял интригу своего темного пролога. Байрон воспользовался случаем и перебил выпендренный панегирик, любезно предложив префекту перейти к

сути дела. Ничего ужасающего, но три дня тому назад пропали два брата. Речь идет о молодых рыбаках, двадцати трех и двадцати четырех лет, что жили по соседству с Виллой. С тех пор о них ничего не слышно, и, что самое любопытное, они не пользовались лодкой, поскольку маленький рыбачий баркас по-прежнему привязан рядом с их домиком; так что, если до них дойдут какие-нибудь вести или они *что-нибудь* увидят, любую мелочь, он будет им безгранично признателен за содействие. У него нет ни малейшего намерения причинить им беспокойство и уж тем более нарушить их уединение, а посему, сообщив всю необходимую информацию, префект Дидье поднялся, вежливо откланялся и, хотя никто не выразил ни малейшего намерения проводить его до дверей, попросил всех не беспокоиться, поскольку знает, где выход. Все же Хам счел нелишним указать гостю на то, что дверь, через которую он собирается совершить свой исход, ведет в подвал.

В эту минуту Полидори, бледный и дрожащий, устремив взгляд в пространство, как заводной механизм, пробормотал:

– В окрестностях Шпионского замка.

Эти слова были произнесены очень тихо, но вполне различимо. Дидье замер на пороге, как вкопанный. Полидори говорил с такой решимостью, с какой преступник признается в содеянном. Префект вернулся.

– Простите? – спросил он, пытаясь втиснуться между глазами секретаря Байрона и бесконечностью.

Внезапно Полидори осознал, что он заговорил и, что еще хуже, как всегда, сказал лишнее. В считанные секунды он понял, что у него нет никакой возможности отречься от своих слов. Конечно, он мог попробовать как-нибудь завершить фразу, добавить любую нелепость, но, если письмо не лжет и трупы будут действительно найдены в указанном месте, то станет очевидно, что он не только знал, где в точности их искать, но, вдобавок ко всему, пытался это скрыть. Полидори подумал было о том, чтобы подняться в свою комнату и показать письмо префекту, но суеверный ужас заставил его отказаться от этой мысли.

– В окрестностях замка Шийон; я видел, как туда слетаются птицы, – Полидори ограничился этой загадочной фразой, не вдаваясь в пояснения.

Перси Шелли воспользовался тем, что взгляд префекта на мгновение задержался на нем, и сделал незаметный, но выразительный жест: прикрыл глаза, отрицательно мотнул головой и поднес к виску указательный палец. Префект Дидье легонько кивнул. В самом деле, – сказал он себе, – человек, который только что изрек столь странное пророчество, не производит впечатления здравомыслящего.

– Хорошо, – произнес он вслух, – я учту ваше предположение.

Едва префект ушел, Джон Полидори резко вскочил со стула и вцепился в горло Перси Шелли.

– Ничтожество, я все видел, жалкий сумасшедший...

Шелли стряхнул его с той же легкостью, с какой прогоняют муху, и в мгновение ока схватил за запястья. Байрон вступился за своего секретаря, вызволив его из рук поэта, что привело Полидори в еще большее бешенство. Он чувствовал себя, как ребенок: ему не удалось даже поколебать улыбку Шелли, а поведение его Лорда скорее было продиктовано жалостью. В ослеплении Полидори стал метаться по гостиной, выскочил на веранду и бросился в пустоту.

Байрон и Шелли перегнулись через балюстраду и увидели распростертое на траве под дождем безжизненное тело Полидори. Как две молнии, они слетели вниз по лестнице. Добравшись до сада, они обнаружили, что секретарь дышит шумно и прерывисто. Полидори плакал горькими, колючими слезами, но более всего в этих слезах было жгучей ненависти. Он упал на упругий кустарник, который рос вокруг дома, а мягкая садовая почва окончательно смягчила удар. Единственное, чего ему удалось добиться, – вывихнуть щиколотку. Его подняли и, поддерживая под руки, отвели в дом.

Полидори, укрытый пледом, полулежал в кресле рядом с камином и, хотя тело ныло, чувствовал себя совершенно счастливым. Байрон, приготовил для него чай, и теперь сидел рядом с ним, поглаживая по лбу. Шелли принес искренние извинения, а Мэри сладким, журчащим голоском прочитала большой отрывок из *La Nouvelle Helonse Руссо*.

Полидори вновь и вновь обращался воспоминаниями к своему недавнему атлетическому, а главное духовному, подвигу. Байрон не мог бы похвастаться подобным свершением. Он уже заранее смаковал сладостный ответ, который в свое время, когда наступит подходящий момент, он метнет, словно кинжал, в самый центр кичливости его Лорда: «Я могу спрыгнуть с высоты, ни капли не опасаясь за свою жизнь». Но самая большая глупость заключалась в том, что эти жалкие потуги, которые возвышали Джона Уильяма Полидори в собственных глазах, одновременно свидетельствовали о его глубочайшей преданности Байрону: он вел себя, как отвергнутая невеста. Однажды, не так давно, он уже пытался отравиться цианистым калием, дозы которого оказалось недостаточно даже для того, чтобы убить мышь. Но все эти подвиги приближали его к возвышенным романтическим героям. А кем еще мог быть герой, как не мучеником? Шелли как-то сказал, что Запад должен слепить собственных идолов из навоза сострадания. Эта фраза показалась Полидори не только верной, но и вдохновляющей. В конце концов, такова была история всей его жизни. И теперь, когда все вокруг расточали ему заслуженные утешения, он не мог не чувствовать себя настоящим Христом, скорбящим, страждущим и жертвенным. И все склонялись к его израненным ногам, ногам Спасителя. К тому же эта маленькая героическая эпопея восстановила его пошатнувшийся престиж. Байрон лично умолял его, чтобы он, как только сможет, осмотрел Клер, чье

здоровье вызывает серьезные опасения. В первый раз он обратился к своему секретарю как к врачу.

Ближе к ночи, перед ужином, живописная композиция, которая сложилась в зале – точь-в-точь фреска с изображением великомучеников – была совершенно некстати разрушена повторным визитом префекта Дидье.

Он казался озадаченным. Байрон, нарочито не скрывая некоторого раздражения, сообщил ему, что они не располагают никакими новостями, касающимися означенного происшествия; более того, сказал он, они даже не выходили из дома. Ему не хотелось, чтобы префекту стало известно о небольшой прогулке Полидори по саду – было нетрудно вообразить, какие комментарии вызовет эта весть в Англии – а потому он не сделал не малейшего усилия, дабы утаить тот факт, что присутствие визитера становится обременительным. Однако префект был настолько поглощен своими переживаниями, что не обратил никакого внимания на намеки Байрона.

– Недалеко от Шийонского замка мы обнаружили два трупа – лаконично сказал он, что совсем не вязалось с красноречием, ознаменовавшим его первое появление.

Все взгляды устремились на Полидори. Секретарь Байрона, расположившийся в кресле рядом с камином, ограничился тем, что поднял брови, слегка искривил рот и наклонил голову, одновременно выражая согласие и отказ, уверенность и смирение, как будто хотел сказать: «Я так и знал. Это было очевидно. Очень жаль, но чему тут удивляться?» Неожиданно Полидори осознал, что злосчастное письмо может обернуться и во благо. Он ощутил свою чрезвычайную значимость, как если бы был главной и незаменимой деталью в работе мирового механизма. Префект Дидье смотрел на этого человека, освещенного пламенем, глазами, преисполненными почтения. Он не имел ни малейшего намерения нарушить его сосредоточение, однако умолял открыть, каким образом удалось так точно указать место. Полидори вздохнул, прикрыл глаза и, выдержав загадочную паузу, сообразовал заговорить. В действительности, как бы это объяснить, речь идет о гармоническом слиянии медика и поэта; инстинкт врача и необузданный полет духа, свойственный сочинителю, наделили его своего рода лирическим чутьем, позволяющим улавливать неповторимое благоухание смерти, да и, в конце концов, полет чаек, равно как озерные течения, в общем, иначе и быть не могло; бедные юноши, ему самому трудно поверить в неотвратимость своих предсказаний, однако, к сожалению, факты свидетельствуют о том, что в очередной раз он оказался прав. Полидори заплутал в своем изощренном и торжественном монологе,

сетуя на невыносимое бремя своего ума и беспощадный дедуктивно-индуктивный талант, на особую поэтическую чувствительность; и почему только он не может быть таким, как все люди, чуть менее сложным, чуть более – как бы это сказать, чтобы никого не обидеть? – простым. Но что поделаешь? Такова его природа, остается лишь смириться и принять ее такую, какова она есть. Он говорил торжественным и спокойным тоном, глядя на огонь. Плед, в который он был закутан, придавал ему сходство с мудрецами древности. Шелли и Мэри обменялись изумленными взглядами – смесь удивления и недоверия. Они знали секретаря Байрона не очень хорошо, но все же достаточно, чтобы не верить не только в его проницательность или провидчество, но даже в способность к самому примитивному, элементарному логическому мышлению. Клер, со своей стороны, не обратила на монолог Полидори ни малейшего внимания, хотя и не могла скрыть отвращения, которое у нее вызывал его монотонный, резкий голос, предчувствуя, что от этого многословия у нее вот-вот лопнет голова, и без того истерзанная мигренью, грозившей стать хронической.

– *Chesard, sard*, – таинственно заключил секретарь, извинился и удалился в свою комнату с усталостью пророка после провидческого транса. Префект Дидье проводил его почтительным молчанием. Байрон же окончательно убедился в том, что его секретарь определенно сумасшедший.

Он вошел в свою комнату, абсолютно веря в истинность всего, что только что произнес. Конечно, нельзя не признать, что о трупах он узнал из письма. Однако не менее очевидно и то, что именно он, и никто другой, был избран в качестве доверенного лица таинственным духом мрака. Мало помалу страх перешел в приятное возбуждение. Он предчувствовал, что из загадочной переписки можно будет извлечь какую-нибудь выгоду. Он зажег свечу и посмотрел на горы по ту сторону озера. На одной из вершин снова загорелся огонек. С нервной улыбкой, не в силах подавить волнение, он перевел взгляд на письменный стол и, часто дыша в сладостном предвкушении страха, удостоверился в том, что там, рядом со свечой, лежал еще один черный конверт с пурпурной печатью.

Др. Полидори!

Сегодня вечером Вы совершили непростительную глупость. Вас спасло чудо. Не могу избавиться от чувства вины. Наверное, в предыдущем письме мне следовало сообщить Вам о некоторых обстоятельствах, которые дали бы Вам основания ценить свою жизнь. Я уже упоминала, что у Вас есть «нечто», от чего зависит мое существование. Говоря без экивоков, хочу предложить Вам сделку, поскольку тоже располагаю кое-чем, чего Вы жаждете превыше всего. Однако чтобы достичь успеха совершенно необходимо, чтобы, во-первых, мы оба были живы и, во-вторых, соблюдали полную секретность. Ибо Ваш разговор с префектом Дидье также мог стоить Вам жизни. Дорогой мой др. Полидори, это не игра. У меня не осталось сомнений в том, что ответственность за смерть двух невинных молодых людей лежит на мне. Порой я думаю, что бремя терзаний мне не под силу. Впрочем, вернемся к нашим делам.

Настало время открыть Вам, что же являет собой это «нечто», от чего зависит моя жизнь. Как воздух и вода, мне нужно семя, которое порождает жизнь и преодолевает время, то житнетворное зерно, которое побеждает смерть, воссоздавая себя в потомстве, которое несет в себе животную стихию инстинктов, но в то же время и неосязаемую легкость души, характер наших предков и темперамент наших потомков; оно было заложено в природу первого мужчины и пребудет в ней во веки веков, став роковым наследием, обрекшим нас до конца наших дней оставаться теми, кто мы есть, непреложным заветом,

дарящим нам жизнь и с той же непостижимой неотвратимостью отнимающим ее. В конечном счете, это то, в чем сладостном потоке обретаются зародыши каждого из нас, та плодородная влага, которой наделены только вы, мужчины. Наверное, мой милый доктор, Вы уже поняли, о какой субстанции я говорю. Да, я действительно нуждаюсь в жидком эликсире жизни, подобно тому, как каждый смертный нуждается в пище. Он мне так же необходим, как каждому из вас необходима вода, чтобы не погибнуть; так и мне необходимо прильнуть к этому живому источнику. Не знаю, по какой чудовищной причине единственным веществом, способным поддерживать во мне жизнь, является именно человеческое семя. Ар. Полидори, должно быть Вам нетрудно представить себе, на какую жестокую участь я обречена. Я уже упоминала о том, что земля не породила существа страшнее меня. Потому я не боюсь признаться, что начисто лишена какой бы то ни было привлекательности, более того, доведись мне показаться на глаза мужчины – к счастью, такого ни разу не случилось, – я вызвала бы в нем только отвращение. Вы, наверное, спросите, как же мне до сих пор удавалось поддерживать свои жизненные силы. Как человек умный, Вы уже наверняка догадались. Если помните, я говорила Вам о том, что мое уродство находится в отношении обратной пропорции к красоте моих сестер. Видимо, нет нужды пояснять очевидное: Бабетта и Колетта, использовали свою красоту, чтоб добыть для меня то, что мое уродство мешало получить мне собственными силами. Но, забегая вперед, хочу сказать, что если на протяжении всей жизни они и брали на себя этот – как еще посмотреть – «неблагодарный» труд, то двигала ими отнюдь не сестринская любовь и уж тем более не удовольствие, которое может сулить подобная работа. Напротив, будь на то воля моих сестер, я бы уже давно была мертва. Позволю себе не торопиться с разоблачением истинных причин «гуманного» поведения Бабетты и Колетты. Молва о моих сестрах стала чуть ли не достоянием общественности. Вероятно, и до Вас дошли слухи о них: развратницы, гулящие, подстилки, бесстыжие, ветреницы, кокотки и, уж совсем прямо и в лоб, шлюхи, – вот лишь немногие из тех ярлыков, что на них навешали. Наверное, Вам доводилось читать подобные надписи на дверях общественных уборных Парижа. Все это не совсем так. Я бы не стала утверждать, что они одержимы природной склонностью к пороку. Впрочем, чуть ли не ежедневная необходимость совершать подобные действия ради спасения жизни могла в конце концов взрастить в них вкус или привычку к разврату. Но таковы следствия, а не причины.

Теперь, когда я открыла Вам, чем Вы располагаете, необходимо поведать историю моей семьи.

Я принадлежу к старому протестантскому роду. По прихоти случая мои давние предки эмигрировали из Франции в Англию, а несколько позже – из Англии в Америку. Мой отец, Уильям Легран, человек с расстроенной психикой, умудрился несколько раз промотать и восстановить свое наследство. Он родился в Новом Орлеане, где и вырос, не имея иных забот, кроме тех, что есть у юноши из благополучной семьи.

После смерти деда мой отец, одержимый недугом, наиболее пагубным для Америки – речь идет о роковой золотой лихорадке, – в погоне за призрачными надеждами растратил все до последней монеты. В обществе своего преданного слуги – ничто более не удерживало его в этом мире – он обосновался на пустынном острове Салливан, неподалеку от Чарльстона, что в Южной Каролине. Одному Богу известно, как два года спустя ему удалось вернуться в Новый Орлеан одним из самых состоятельных людей Америки. Однако его торжество было таким же быстротечным, как момент, отделяющий вспышку молнии от грома – преследуя свою счастливую звезду, он вложил весь капитал в безрассудную экспедицию на негостеприимный Юкон, где, в довершение ко всему, едва не погиб.

Впрочем, ему будто было суждено повторить судьбу самого Лазаря, и он снова чудесным образом поднялся из самой жалкой нищеты. Когда все уже указывало на то, что наступил бесславный конец истории почтенного рода Легран, однажды утром в его дверь позвонили. Немногословный господин средневекового вида с птичьим лицом, представившийся нотариусом, уведомил его, что в отсутствие прямых родственников, а также завещания, он, Уильям Аегран, внучатый племянник некоего Андре Поля Леграна, недавно скончавшегося во Франции, является единственным наследником собственности безвестного покойного, а именно, к нему переходят: особняк в центре Парижа со всей мебелью, картинами и драгоценностями, равно как сумма денег, которая обеспечит беззаботное существование по крайней мере трем следующим поколениям. Поскольку его уже ничто не связывало с Новым Орлеаном – семьи у него не было, а преданный слуга, Юпитер, не покидавший его в самые худшие времена, умер – мой отец решил искать счастья на земле своих предков. Решение заняло ровно столько времени, сколько ему понадобилось, чтобы поставить подпись под документом, который огласил нотариус. Через месяц мой отец прибыл в Париж. Весною 17... года он познакомился с той, кто впоследствии стала моей матерью – ее звали Маргарита, – а

следующей весной женился на ней. Прошломного времени – ровно один год со дня свадьбы, – и жизнь моего отца превратилась в кошмар.

Тут я предоставляю повествованию развиваться самому по себе и посылаю Вам копию письма, которое мой отец отправил некоему врачу и которое поведаст Вам горькую правду о начале моей чудовищной жизни.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПИСЬМО УИЛЬЯМА ЛЕГРАНА

Париж, 15 марта 1774 г.

Глубокоуважаемый др. Франкенштейн, эти строки продиктованы отчаянием. Учтывая, как давно мы не виделись, я бы предпочел побеседовать с Вами о вещах более приятных. К сожалению, вынужден признать, что нарушить трехлетнее молчание меня побудил исключительно тот несчастный оборот, который неожиданно приняла моя жизнь. Умоляю Вас о помощи, поскольку этот крест мне самому не под силу. Я нуждаюсь в Вашем мудром совете и, что более важно, рассчитываюна Ваше благородство. Настоящее письмо – исповедь, покаяние и мольба. Возможно, Ваши обширные познания в медицине помогут мне найти выход из того рокового лабиринта, в котором я блуждаю последние три года своей жизни. Я собираюсь поведать Вам о самом страшном, что только может случиться с человеком. Не сочтите меня жалким сумасшедшим, по крайней мере, пока я таковым не являюсь. Взываю к Богу, чтобы он укрепил меня в моем намерении послать Вам это письмо, как только я поставлю последнюю точку, хоть и опасаясь, что стыд может помешать мне. В последнем своем послании я сообщил Вам радостную новость о беременности Маргариты. Вспоминаю, с каким волнением я описывал событие, о котором я и моя жена так долго мечтали. Все шло просто превосходно, и не было ни малейших оснований ожидать иного исхода, как только самого благоприятного. Вам известно, что, в силу некоторых осложнений, моя супруга умерла родами, равно как и то, что в то время, как ее жизнь угасала, ценою героических усилий, из последних сил, ей удалось произвести на свет двух очаровательных девочек-близнецов. Но это лишь часть правды. Выли и другие события, о которых никто не ведает, ибо они столь чудовищны и необъяснимы, что, охваченный страхом, я так и не отважился предать их гласности, не зная, что предпринять и к кому обратиться.

Постараюсь изложить их Вам настолько подробно, насколько мне позволит стыд.

Морозной ночью, 24 февраля 1744 года, за несколько минут до того, как ослепительная кадмиевая вспышка предвестила приближение самой страшной грозы, какую только видел наш век, Маргарита – к тому времени она находилась на седьмом месяце беременности – в ужасе

проснулась. Помню, той ночью – уж не знаю, почему – я бодрствовал, пребывая во власти смутного беспокойства, которое – теперь я в этом уверен – предвещало трагические события. По причинам, мне неизвестным, я был уверен в том, что грядет нечто неотвратимое. То, что затем произошло, как будто воплощало мои мрачные предчувствия: моя жена приподнялась и, опираясь на локти, скорчилась от непереносимой боли. Она поднесла ладонь к животу, как это обычно делают беременные женщины в случае неизбежной опасности. В тот самый момент одновременно произошло два события, как если бы одной причиной и следствием другого. Едва моя супруга прикоснулась к ночной рубашке, как мне передалось ее собственное ощущение, что живот стал гораздо больше, нежели несколькими часами раньше, когда она ложилась спать; и в ту же минуту весь дом содрогнулся от раската грома. Я попытался успокоить себя тем, что происходящее является всего лишь игрой воображения, кошмаром полусна-полуяви. Не медля ни секунды, я зажег все свечи в подсвечнике, что стоял на ночном столике, и с ужасом убедился, что семимесячный живот, который всего несколько часов назад выступал не более, чем миниатюрная грудь моей жены, на самом деле невероятно раздулся, так что она даже не могла охватить его руками.

Тогда я еще не подозревал, что внезапное пробуждение моей жены станет началом самого чудовищного из всех кошмаров, который будет преследовать меня до конца дней.

За окном на мир беспощадно взирало небо, город, зажатый сверху и снизу между грозой и рекой, казался далекой, призрачной тенью, молившей о жалости. Париж еще не видел Сены в подобном неистовстве. Волны гневно хлестали ступени набережных, терзали гребнями балюстрады мостов.

Однако даже если вообразить себе самое ужасное, что может случиться с роженицей, любая фантазия покажется невинной по сравнению с тем, что произошло той ночью, когда разразилась чудовищная буря, равных которой не помнит никто из современников.

Яростно стегал дождь. Я подошел к окну, протер ладонью стекло и убедился, что за завесой воды и града не видно ничего дальше карниза, на котором разлетались вдребезги горшки с геранью, будто их рубили топором. Стоявший напротив собор казался эпицентром потопа, как если бы весь божий гнев изливался из темных пастей гаргулий, изрыгавших тяжелые потоки воды.

Я перевел изумленный взгляд на мою жену, но оттуда, где я стоял ее лица не было видно, его заслоняла гигантская возвышенность живота.

Гроза длилась всего пять минут, но ее последствия уже были непоправимы. Жена кричала от боли. В полном отчаянье я закутал ее в одеяла и не без труда взял на руки.

Лишь когда вода потекла по моим коленям, я осознал, что одеяло промокло. Я положил жену на старый поломанный стол, казалось, она умирает.

Лошади ржали и били копытами, выпуская изо рта густой белый пар. Было невозможно впрячь их в коляску. Маргарита корчилась от боли, времени оставалось все меньше и меньше. Я подбежал к воротам и стал звать на помощь. Казалось, все жители Парижа вымерли от внезапной эпидемии чумы. Вопли моей жены заставили меня вернуться в дом. Войдя, я увидел, что она стоит, прислонившись к стене, под прозрачным покровом холодного пота и, задыхаясь, пытается перекрыть руками кровавый водопад, хлещущий по ее ногам. При иных обстоятельствах, если бы речь не шла о моей жене, при виде подобной картины я бы впал в оторопь. Однако, в данном случае я собрал всю свою волю в кулак и преисполнился решимости вытащить с того света плод, нашедший приют в лоне моей супруги.

На последнем издыхании, моя жена, обессилевшая, побледневшая от потери крови, прилагала все усилия, на которые еще только было способно ее ослабевшее тело. Повинуясь слепому инстинкту, я ввел в нее свою руку и сразу же нащупал то, что ни с чем не спутаешь – маленькую детскую головку. Вверив себя Всевышнему, яосторожно, ноуверенно потянул ее на себя, пока она не появилась в кровавом потоке. Еще одно мгновение, еще одно усилие и все тельце оказалось бы у меня в руках, но тут я заметил, что есть некоторое препятствие. Я развернул руку и совершенно определенно нащупал еще одну головку такого же размера. Маргарита испустила глубокий выдох и, к моему величайшему отчаянию, перестала дышать. Находясь в безутешной горе, я закричал из последних сил, уповая на то, что кто-нибудь придет нам на помощь. Одному Господу ведомо, каким образом мне удалось извлечь на свет двух малышей.

Девочки родились сросшимися; нечто вроде уродливого струпа, едва походившего на человеческую ткань, соединяло их спины. К великому ужасу, я заметил, что эта перемычка живет собственной жизнью – сокращается и распрямляется, будто дышит. Стоило мне взять на руки новорожденных, как они разъединились сами по себе, без малейшего усилия с моей стороны. Загадочный нарост упал на пол – повсюду была вода – и его смыло в угол комнаты. Я не мог избавиться от ощущения, что это нечто живое. Я попытался убедить себя, что кажущиеся движения были

вызваны всего лишь течением воды. Между тем, стоило мне подойти поближе и всмотреться, как у меня не осталось сомнений в том, что странное существо пытается удержаться на плаву. Это было, теперь я видел ясно, нечто, вроде маленького животного или головастика, покрытого сероватой кожей, как у летучих мышей. Могу также поклясться, что уродец смотрел на меня. А теперь, др. Франкенштейн, представьте себе картину: труп моей жены на столе, в руках у меня два младенца, нечто диковинное смотрит на меня глазами, исполненными вражды, и я один, совсем один, в полной растерянности. Внезапно меня охватила уверенность в том, что единственной причиной обрушившихся на меня бед является это барахтающееся в воде существо. Тогда, крепко прижимая к себе дочерей, я приблизился к выродку и надавил на него ногой, чтобы он не смог всплыть на поверхность и наверняка захлебнулся. Но в тот же момент я заметил, что мои девочки посинели и перестали дышать. Я сразу понял, что одно является причиной другого; стоило мне приподнять ногу и дать существу доступ квоздуху, как мои дочери снова начали дышать. Маленькое чудовище теперь смотрело на меня с ненавистью. Ужас окончательно парализовал меня, когда я увидел, как его крошечное тельце, вращаясь вокруг собственной оси, со скоростью крысы скрывается за плинтусом.

Итак, супруга моя умерла. Дочери, которых я нарек Бабеттой и Колеттой, выросли здоровыми и красивыми. А тот маленький монстр обитает в подвалах дома и редко показывается на глаза. Я часто слышу, как он бродит по подвальным помещениям – библиотеке и кладовой, – и лишь отвратительные следы, которые чудовище оставляет после себя, напоминают о его существовании. Однажды я был свидетелем, как оно дралось с крысами за пищу. И хотя с тех пор я его ни разу не видел, знаю, что оно живо, потому что мои дочери еще дышат. Часто, когда я ложусь спать, мне кажется, что оно где-то здесь, притаилось в темноте, и я до сих пор боюсь его беспощадной мести. Знаю, оно меня ненавидит.

Сначала я нанял для девочек кормилицу, а год спустя – няню, которая занялась их воспитанием. Сестры выросли здоровыми, красивыми и настолько похожими, что мне и теперь бывает трудно различить их.

Письмо неожиданно оборвалось на середине страницы. Взглянув на другую ее сторону, Полидори убедился, что написанное там он уже читал. Со следующего листа слово снова взяла Анетта Легран.

Поскольку моего отца охватывал стыд при одной лишь мысли о подобной исповеди, он решился доверить страшную тайну только моим сестрам; письмо же, которое он начал писать к другу, так и осталось неоконченным. Я достала его из корзины для бумаг. Надеюсь, теперь Вам стало совершенно ясно, какие причины вынуждают моих сестер заботиться о моей жизни.

Как Вы, возможно, догадываетесь, события, о которых повествует мой отец, тщательным образом просеяны сквозь сито стыдливости, и, несмотря на драматический и покаянный тон, многое осталось недосказанным. Отца я не осуждаю. Однако, несмотря на то, что описание его страданий достойно жалости, я все же никогда не смогу ему простить того, в чем он сам признается, – намерения убить меня. Поверьте, я не очень дорожу жизнью. Если я до сих пор еще не умерла, то обязана этим вовсе не отцовской любви и не сестринской заботе. Я до сих пор храню тяжелые воспоминания о днях своего детства, но никого не обвиняю в том, что фактически была приговорена к гражданской смерти. Я сама выбрала одиночество и обрекла себя на полную безвестность. С раннего детства я почувствовала в себе склонность к уединению, да и поупом всегда чувствовала потребность – почти физиологическую – таиться в местах темных и тихих. Почти всему я научилась от своих врагов, таких же жителей подземелья. От крыс я переняла ненасытный голод к книгам, от тараканов – чуткую наблюдательность, от пауков – терпение, от летучих мышей – интуицию, от кротов – выносливость, позволяющую прорывать огромные ходы в мрачном чреве земли. Я знаю Париж лучше, чем самый кичливый парижанин. Мне ведомы ходы и коридоры, соединяющие одну окраину города с другой, пролегающие под руслом Сены, и, интересуй меня деньги, сокровища Наполеона уже тысячу и один раз были бы моими.

Сызмальства я ощущала жизненную необходимость оставаться рядом со своими сестрами. Возможно, причиной тому была наша связь сиамских близнецов, плотское внутриутробное соединение, может быть, и забота об их здоровье – в конце концов, от них зависела и моя жизнь. Как бы то ни было, я никогда не могла вести независимое существование, как если бы мы и в самом деле оставались единым существом, поделенным на три части, /доходило до того, что, когда гувернантка до хрипа

втолковывала моим сестрам алфавит, – а они звезд с небес не хватали, хотя и не были законченными и непроходимыми дурами, – я наблюдала за ними из полутьмы, прильнув к внутренней стороне вентиляционной решетки. Так я научилась писать и читать. С раннего детства я также решила, что мне принадлежит подпольная часть дома: библиотека и располагавшаяся еще ниже кладовка. Отец унаследовал сказочную библиотеку своего дядюшки, Андре Поля Леграна, чью страсть к книгам свободно вмещало пространство, отведенное под библиотеку – второй этаж дома. Тем не менее, отец, решив, что многочисленные тома являются помехой и лишь захламляют комнаты, распорядился перенести книги, без всякой системы и порядка, в подвалы.

Библиотека была поистине прекрасна. Слабый свет, сочившийся сквозь подвальные окошки торжественными призрачными пучками, превращал ее в некое подобие святилища, нечто вроде языческой базилики или пышного дионисийского собора, который, несмотря на разруху и запустение, искушал меня – и только меня одну – самым соблазнительным из грехов. Пряный запах влажной бумаги, кожаные переплеты, изгрызенные крысиными челюстями листы, черви и поглотившая буквы плесень придавали книгам сходство с мертвым животным, останками которого питаются бесчисленные враждующие паразиты (др. Полидори, сочинитель, мечтающий преодолеть время, выбрал неверный путь). В этой бесшумной схватке я, существо, питающееся падалью, тоже хотела получить свою долю. Мне пришлось выдержать долгое и ожесточенное сражение с крысами, которые, казалось, исполнились решимости пожрать именно ту литературу, которую я в предвкушении удовольствия оставляла для себя. Я должна была обладать проворством, читать как можно быстрее, пока мои противники не успели прикончить книгу. Это была неравная борьба, ведь мне одной приходилось противостоять сотне грызунов. Стоило лишь какой-нибудь книжке вызвать мой интерес, и именно она, и никакая другая, подвергалась их атаке. Те самые книги, которые более всего услаждали мой дух, которых я более всего жаждала сохранить, становились добычей моих ненасытных врагинь. И не было ни тайника, который они бы не обнаружили, ни препятствия, которое они бы не преодолели. Тогда-то я и поняла, что, раз крысы умнее меня, нет иного выхода, кроме как черпать из кладезя их вековой мудрости. Если книгам суждено было пойти на корм животным, то я стану самым прожорливым из хищников. Я читала дни напролет. Заканчивая страницу, я ее тотчас вырывала и заглатывала не жуя. Вскоре я научилась различать вкус и питательные свойства каждого автора, каждого

текста, каждого литературного стиля или течения. В этой нескончаемой войне с крысами, чем больше я на них походила, тем больше – наконец-то это произошло – я ощущала в себе нечто не поддающееся определению, нечто человеческое. Подобно тому, как человек в процессе эволюции перешел от сырой пищи к обработанной, я прошла свой путь развития: перестала пожирать и начала есть. А поскольку рядом находился винный погреб, ничуть не менее богатый, чем библиотека, я вскоре обнаружило, что каждому автору подходит определенный сорт вина.

Во время одной из своих первых трапез я пообедала ранним испанским изданием Кихота; тем же вечером, находясь под впечатлением Однорукого из-под Лепанто, поужинала Назидательными новеллами, а на следующий день – вот какое потрясение у меня вызвало мое открытие – я проглотила в качестве завтрака очаровательное издание Идальго Кабальеро на французском, за которое мне пришлось сразиться с крысами лицом к лицу. Затем последовал изысканный экземпляр первого издания Страданий молодого Вертера, а на ужин – настоящая, гастрономическая оргия –

Тысяча и одна ночь. Расправившись с Опытами Монтеня, я принялась лакомиться Филиппом де Комином, маркизой де Севинье и герцогом Сен-Симоном. Я все еще храню три последние страницы Декамерона и финал Гаргантюа и Пантагрюэля: они доставляют мне столь великое наслаждение, что я удерживаю себя от того, чтобы доесть их. Я буквально проглотила Поцелуи Иона Секунда, а заодно и Ариосто, Овидия, Вергилия, Катулла, Лукреция и Горация. Дошло даже до того, что я отведала сколь неудобоваримые, столь и великолепные Рассуждения о методе, а за ними следом – Страсти души. Как Вы могли заметить, я не склонна перечитывать книги по второму разу. Однако я наделена способностью, которую рискну определить как память организма: помимо тягостного дара запоминать все подряд – хоть сейчас прочитала бы Вам от начала до конца всю Одиссею – меня отличает еще одна особенность. То, что иногда излишне легкомысленно называют знанием, не оседает в виде некой суммы в глубинах моего духа, но хранится в теле в виде совокупности инстинктов, понимаемых в самом физиологическом смысле слова. Литература для меня – естественный способ выживания. Др. Полидори, настоятельно рекомендую Вам поставить опыт: съешьте то, что прочли.

Джон Полидори был поражен. Он неоднократно сетовал на свою короткую память. Сколько раз ему хотелось процитировать тот или иной стих, который, казалось, как нельзя лучше подходил к обстоятельствам! Но память его была концептуальной, а не буквальной; он в точности помнил

идею, но не мог облечь ее ни в метры, ни в рифмы конкретного стихотворения. Всякий раз, пытаясь покорить воображаемую аудиторию, он неизбежно путался в невысказанных стихах, которые никак не рифмовались, отчего одиннадцатисложники превращались в нескончаемые, громоздкие конструкции из двадцати четырех слогов. Поскольку он захватил с собой *Прогулку* Уильяма Вордсворта, то решил, что сейчас самое время начать. Прочитав с жадностью первую страницу, он вырвал ее, смял и отправил в рот. Жевать сухую грубую бумагу оказалось делом нелегким: было жестко, острые обрезы ранили небо. С первого раза ему так и не удалось пропихнуть ее в горло. Он подумал, что похож на какое-то жвачное животное, чья жалкая участь не изменится до конца дней. После нескольких попыток, прерываемых приступами тошноты, ему все же удалось проглотить страницу. Теперь, когда она стала спускаться вниз по пищеводу, он почувствовал себя удавом, только что съевшим целого барашка. Затем наступила очередь второй страницы. После пятой глотать стало не труднее, чем пить бульон. В самый разгар пиршества, где-то на девяносто третьей странице, дверь неожиданно и без стука распахнулась, и на пороге комнаты появился Байрон. Оба застыли как вкопанные. Рот Полидори был набит бумагой, которая еще виднелась между губ, покрытых черной от типографской краски пеной слюны; в руке секретарь держал то, что осталось от книги: обложку с несколькими рахитичными страницами. Перестав жевать, он громко сглотнул, тщетно пытаясь скрыть очевидное. Прежде чем развернуться и покинуть комнату, Байрон прошептал:

– *Bonappetit.*

Ответом Полидори стала произвольная отрывка, сухая, громкая и слишком незатейливая, чтобы составить суждение о литературных достоинствах съеденного произведения.

Во время моих подземных экспедиций я совершенно случайно обнаружила нечто, что, вне всяких сомнений, стало для меня воистину бесценным открытием. В проходах, ответвляющихся от узкого туннеля, что пролегает под Сенной и соединяет Нотр-Дам с Сен-Жермен-де-Пре, мне то и дело чудился столь притягательный для меня аромат бумаги и чернил, чьи количества, судя по его интенсивности, могли удовлетворить самые разнuzданные аппетиты. Однако то был запах не типографской краски, но волнующее и ни с чем не сравнимое благоухание, какое источают только манускрипты. Мне не составило труда обнаружить проход, который наконец вывел меня к источнику соблазнительного аромата. Речь идет, как Вы, наверное, догадались, о подвалах, принадлежащих Издательскому Дому Галлан. Моему взору открылось сокровище, ослепительнее которого мне не доводилось видеть: сотни тысяч рукописей от пола до потолка. Я не сразу осознала их ценность. Вы ошибаетесь, если думаете, что это были оригиналы, которые появились на свет в виде книг и снискали бессмертную славу; этим манускриптам был вынесен самый жестокий из всех приговоров, какой только возможен в отношении литературного творения: на каждой обложке стояла красная печать с кратким приговором – НЕ ПУБЛИКОВАТЬ. Если бы я только могла поведать Вам о всех чудесах, которые открылись мне на страницах, обреченных на смерть еще до рождения... уверяю Вас, история европейской литературы могла бы быть совсем иной, куда более славной, если бы хоть некоторые из них, взамен других, прославленных, признанных и почитаемых, увидели свет.

Задавшись целью узнать, кто же был тот неведомый судья, вершивший суд над литературой, что дерзнул определять наше, читателей, будущее, равно как и судьбы еще не написанных книг и их авторов, я познакомилась с самым зловецим и невероятным из всех обитателей подземного мира.

Человек, выносивший приговор рукописям, жил в грязной комнате, располагавшейся под библиотекой. За его спиной высилась гигантских размеров машина, занимавшая почти все помещение. Этот безымянный судья создал в своем роде уникальную классификацию всех великих романов. Он тщательно пересчитал в них все слова с первого до последнего, выделил и пронумеровал каждую синтаксическую и грамматическую конструкцию,

начав с древних восточных писаний, таких, как Гэндзи-моногатари Сикибу Мурасаки, Калила и Димна, не пропустив Сатирикон Петрония, Книгу о рыцаре Сифаре, Кихота и Назидательные новеллы и конечно же Боккаччо, Кеведо, Копе де Бегу, Кефо, Свифта, Лесажа, Лафайета и Дидро. Пользуясь подобным методом, он разложил каждый роман на исчислимые элементы – страницы и слова, артикли, существительные, прилагательные, наречия, союзы, вес и т.д., и т.д. – и в каждом случае вывел средние величины. Не было оставлено без внимания и то, что не поддается счету, то, что сам он несколько расплывчато называл духовными составляющими, заключенными под переплетами книг. Он уверил себя в том, что подобные субстанции также подлежат объективному изучению при помощи различных методов. Так, например, он подвергал их воздействию тяжелых грузов, высоких температур, пара, резких ударов и тому подобное и таким путем пришел к открытию, что непостижимым образом именно те книги, которые дольше всего живут в памяти человечества, не меняют своего веса после вышеупомянутых экспериментов. Возведя эту особенность в ранг всемирного закона, он изобрел конструкцию, которой дал название читающая машина.

Основу машины составлял большой котел, под которым располагалась топка с пылающими углями.. Аве гигантские трубы насквозь пронзали здание и выходили на крышу. Конструкция была снабжена маленькой дверкой, через которую, собственно, в нее и помещалась рукопись. Первым делом произведение взвешивалось. Бели вес соответствовал средним показателям, сочинение перемещалось в устройство для подсчета страниц, представлявшее собой вал, на котором последовательно крепились зубцы в соответствии с предполагаемым количеством страниц. Если «положенных» зубцов не хватало, рукопись отправлялась в «камеру сущностей», где подвергалась исследованию с целью объективировать ее духовное содержание. В том случае, если экземпляр проходил все проверки, на нем автоматически ставилась голубая печать ПУБЛИКОВАТЬ, и он завершал свое странствие в длинной трубе, которая вела в типографию. Если же, напротив, рукопись не соответствовала одному из параметров, она, получив красный штамп НЕ ПУБЛИКОВАТЬ, исчезала в черной пасти трубопровода, который заканчивался в самых глубоких подвалах.

В действительности, неизвестный судья изобрел свою машину единственно с целью сэкономить время и таким образом избежать изнурительного чтения. Конечно же, не лень была его вдохновительницей; наоборот, он ставил перед собой задачу освободить как можно больше

времени для того, чтобы приблизиться к осуществлению своей заветной мечты, осуществить предприятие, которое должно было оправдать все его мрачное существование: написать совершенный роман. А именно он и никто другой знал формулу. Десять лет у него ушло на редактирование романа, который он назвал Ключ к секрету. В тот достославный день, когда он поставил последнюю точку, ему оставалось сделать совсем немного – взять новоиспеченное произведение подмышку и лично отнести его в типографию. Ведь, в конечном счете, он был сам себе судья. Однако, ему не удалось устоять перед соблазном. Он открыл дверку своей машины и с довольной улыбкой предоставил книге следовать законным путем. К его ужасу изобретенный им самим артефакт с решительным презрением изрыгнул из себя рукопись и отправил ее в преисподнюю библиотеки.

Кочегар ничего не успел сделать, чтобы помешать судьбе решительным шагом войти внутрь своей машины.

Исполненная, ужаса, я смотрела на труп, который лежал на собственной рукописи в глубоком подземелье библиотеки. Как и на первой странице манускрипта, на лбу судьи алело несколько букв: НЕ ПУБЛИКОВАТЬ.

Первые годы своей жизни я провела в умиротворенном затворничестве. Но я была счастлива. У меня был мой собственный рай. Все необходимое находилось рядом, под рукой. Во время моих ночных вылазок я могла проникнуть в любую библиотеку Парижа и полакомиться самыми экзотическими книгами, написанными на диковинных языках, которые со временем я научилась понимать. Я не нуждалась ни в чьем обществе. Однако приближалось то время, когда мне предстояло стать женщиной, и нечто ужасное должно было войти в мою жизнь.

В одну ночь мне предстояло пережить некую ужасающую перемену, подобную внезапному и неотвратимому превращению гусеницы в бабочку. Нежданнонегаданно мне пришлось распрощаться со своим счастливым одиночеством, в котором я чувствовала себя так уютно, ради того, чтобы впасть в обременительную зависимость от «себе подобных». В тот самый день, когда я стала женщиной, меня, охватила срочная, нестерпимая и невыносимая потребность познать – в самом чистом, библейском смысле слова – познать мужчину. Это не было похоже на те приступы возбуждения, которые так часто меня беспокоили; речь идет не о влажных выделениях, которые вызывали у меня некоторые книги. В конце концов, я прекрасно знала, как можно себя утешить. Эти порывы я могла усмирить сама и даже предпочитала свои собственные, уже проверенные ласки – никто не мог знать мою анатомию лучше меня самой – одной мысли о том, что ко мне может прикоснуться мужчина. Однако то, что случилось теперь, было чем-то совершенно новым и имело чисто физиологическую природу: если попытаться найти схожую физическую потребность, я бы назвала чувство голода или жажды. Я чувствовала, что, не появившись в моей жизни мужчина, меня ждет смерть, как если бы я перестала есть или пить воду. То, что произошло в течение нескольких следующих дней, доказало, что сказанное не является метафорой. Мое самочувствие ухудшилось до такой степени, что я впала в состояние прострации и почти не могла двигаться. Наверное, Вы уже догадались, что здоровье моих сестер постигла та же самая участь, и по мере того, как разворачивалась моя агония, в той же прогрессии угасали их жизни.

Мои сестры были красавицами. Но пробудившаяся в них с ранних лет ненасытная похоть превосходила их красоту. Сквозь вентиляционное

окошко я могла видеть, как они предавались развратным играм с мосье Пельяном, который в ту пору был деловым партнером моего отца и которому доверили музыкальное образование близняшек. Мосье Пельян старался воспользоваться отсутствием отца, чтобы нанести визит сестрам. Как я уже сказала, то были действительно распутные и порочные игры, но все же не более, чем игры. Мосье Пельян усаживал обеих сестер себе на колени и для начала рассказывал им какую-нибудь байку, конечно же, весьма легкомысленного толка, пока на их щеках не выступал румянец будто бы стыда, а на самом деле – исключительно вожделения. Созерцание двух одинаковых и красивых куколок доставляло мосье Пельяну бесконечное наслаждение; причем казалось, что пароксизм вызывала не красота моих сестер как таковая, но самое идеальное сходство между ними. Свою любимую игру сам мосье Пельян называл «найди различия». Двойняшки сами признались ему, что между ними существует четыре небольших анатомических отличия. Поскольку партнер моего отца никогда не знал наверняка, которая из девочек Бабетта, а которая Колетта, он должен был найти различия на ощупь. Для начала он ласкал белокурые локоны моих сестер. Тонкими пальцами пианиста он тщательно исследовал затылок сначала одной, затем другой; потом медленно спускался к шее и, подобно опытному дегустатору, начинал тихонько пощипывать губами мочку уха – при этом моя сестра тут же закрывала свои голубые прозрачные глаза и выпускала едва заметных вздох, – после чего пробежал языком по всей длине ее египетской шеи вплоть до излета плеча. Затем он отстранялся, а моя сестра так и продолжала стоять, трепеща как лист, в ожидании новых ласк. Он же приближался к другой и проделывал то же самое, добиваясь тех же результатов.

– Пока мне не удалось найти различий, – говорил он глухим шепотом и приступал к дальнейшему исследованию.

Мосье Пельян садился на стул, притягивал к себе одну из сестер и мягко, но настойчиво заставлял ее некоторое время стоять перед ним, затем, еще не прикасаясь к ней, делал знак, чтобы она повернулась вокруг своей оси. Меж тем он пробежал алчными глазами сначала по сладостным, едва наметившимся бугоркам груди, чьи соски от одного его взгляда твердели и начинали топорщиться под тканью лифа. Потом, по мере того как девочка продолжала вращаться, он впивался глазами в еще детские, но уже округлые и крепкие ягодицы; моя сестра тем временем изгибала позвоночник таким образом, что они становились еще рельефнее, чем их создала природа, и, как бы предлагая их мосье, приближала их к

самому его носу. Однако Пельян пренебрегал ими, предпочитая бедра, крепкие и длинные, легонько лаская их сквозь одежду в опасной близости от вульвы, которая к тому времени становилась влажной и горячей. Как и раньше, он снова отстранял ее от себя и просил подойти другую сестру. Сцена повторялась в точности до мелочей.

– И тут не нахожу никаких различий, – шептал Мосье Пельян с притворной досадой. – Придется продолжить обследование.

И тогда начиналась самая любимая часть игры. Он просил моих сестер сесть рядом на крышку рояля, медленно поднимал их юбки и сначала ласкал крепкие точеные икры, а затем брал маленькую ножку каждой из них и гладил их ступнями свой – к тому времени уже напряженный и трепещущий – член, который непристойно распирал брюки, чуть ли не трещающие под столь бесстыдным напором. Далее, не меняя позы, Мосье Пельян проводил языком вверх по икрам до молчащих губ, которые, однако, легкими подрагиваниями как будто молили о столь хорошо знакомых ласках. В то время как он исследовал языком маленький холмик – алый и затвердевший, – который отчетливо возвышался над складкой половых губ одной из сестер, он нежно вводил сначала один, затем второй, и наконец третий из своих длинных, тонких пальцев в распаленные глубины другой. Мои сестры стонали, целуясь и лаская друг другу соски. Когда они уже были на грани исступления, Мосье вставал, отходил на несколько шагов и смотрел на них – задыхающихся и обливающихся потоками пота.

– Я так и не нашел ни одного различия, – раздосадовано говорил он. Он поправлял на себе одежду, разворачивался и направлялся к двери. У самого порога он поворачивал голову и на прощание говорил:

– Возможно, на следующем уроке. К следующему разу отрететируйте то, что мы сегодня проходили.

Дверь за его спиной тихо закрывалась, а мои сестры так и оставались сидеть на крышке рояля, глядя друг на друга, – с раздвинутыми ногами, влажными вульвами и призывно набухшими сосками.

Мы решили, что мосье Пельян – единственный, кто может дать нам то, в чем мы нуждались. Однако возможно ли раскрыть перед мосье Пельяном тайну моего существования? Что ожидает сестер Легран – и, разумеется, моего отца, – если вдруг вскроется, что они прятали чудовищного близнеца. Откуда нам было знать, что власти не приговорят меня к заточению? Каким мерзким обследованиям подвергнут меня одержимые врачи? Но самое главное, как убедить мосье Пельяна, чтобы он доверился такому монстру, как я? Каким бы извращенцем ни был компаньон моего отца, каким бы растленным ни было его грязное воображение, вряд ли он пойдет в своей похоти так далеко, чтобы почувствовать влечение к выродку, поросшему шерстью обитателю клоака, смрадному чудовищу, скрещению самых мерзких уродов мрачных глубин. Вероятнее всего, он опрометью выбежит из дома и заявит о появлении ужасного существа или, в лучшем случае, умрет, пав жертвой испуга. И тогда мы с сестрами решили, что единственно возможным выходом была другая игра, в которую они часто играли с мосье, – в «слепого петуха».

Мои сестры не покидали постели. На грани отчаяния отец решил вызвать врача. Двойняшки молили его не делать этого, а, напротив, лучше вызвать своего компаньона. Не ведая истинной причины, наш отец выполнил столь экстравагантную просьбу. Я же, со своей стороны, вот уж два дня как не покидала отдушину, которая выходила в комнату сестер.

Отец вернулся вместе с мосье Пельяном, который с искренним сочувствием и горечью взирал на моих сестер, обессиленных и бледных. Бабетта попросила отца, чтобы он на минуту оставил их наедине с мосье Пельяном. Мой батюшка никогда не сомневался в порядочности своего компаньона, которому он к тому же доверил воспитание дочерей. Он предположил, что мои сестры хотят довериться ему, как исповеднику, свою последнюю волю и покаяться в своих детских грехах. Он обнял своего компаньона и друга, после чего, сдерживая рыдания, вышел из комнаты.

Мосье Пельян, стоявший между кроватей моих сестер, выглядел встревоженным и заинтригованным.

– Девочки мои, – наконец заговорил он, – едва ваги отец сообщил мне о вашей тяжелой болезни, я не мешкая прибыл сюда. Не представляю, чем могу быть вам полезен, – с сочувствием добавил он, опускаясь на колени, –

я не врач. Но я сделаю все, что вы ни попросите.

Бабетта, не без труда приподнявшись на локтях, попросила его приблизить ухо к ее губам.

– Мы хотим поиграть в «слепого петуха». Мосье предположил, что, будучи в горячке, Бабетта бредит.

– Детка, – сказал он, лаская ее белокурые локоны, – ты сама не знаешь, о чем говоришь...

– Мы прекрасно знаем, что говорим, – произнесла Колетта голосом слабым, но властным. – Мы умоляем вас. Если хотите, считайте это нашей последней волей.

– Пожалуйста, не отказывайте нам, – нежно молила Бабетта, одновременно принимая вид невинный и сладострастный, что всегда безотказно пробуждало самые низменные инстинкты мосье Пельяна.

– Но если войдет ваш отец, – пролепетал господин учитель музыки, – представьте себе, вы в таком... состоянии, и я...

– Приприте чем-нибудь дверь и идите сюда, – прошептала Бабетта, приложив указательный пальчик к губам маэстро, зная, что тот уже сдался.

Колетта закрыла глаза Пельяна повязкой.

– Чур, не жульничать и не подглядывать. Игра состояло в том, что мосье должен был догадываться, которая из двух девочек к нему прикасалась. Сестры сели на край кровати, между ними расположился мосье.

Сначала Бабетта провела легонько, едва касаясь, язычком по уголкам губ Пельяна.

– Ах, плутовка, я узнаю твое дыхание. Колетта!

У моих сестер не хватало сил даже на то, чтобы рассмеяться.

– Ошибка, ошибка! Начнем с жилета. Они медленно, одну за другой, растянули пуговицы его жилета, начиная с верхней, а когда дошли до самой последней, будто бы невзначай прикоснулись к объемистому возвышению, которое уже начинало взбухать под брюками. Затем Бабетта ввела указательный палец в рот маэстро.

– Этот пальчик несомненно принадлежит Бабетте, – уверенно произнес Пельян.

Им было не до честности, оставалось слишком мало времени, и затягивать игру, как они это делали обычно, было нельзя. Они решили идти кратчайшим путем.

– Ответ снова неправильный. Теперь переходим к ботинкам.

Прерывисто дыша, одна из них сняла правый ботинок, другая левый.

Согласно правилам, ботинки следовало снимать по очереди, но на этот раз мосье не выразил никакого протеста. Он и в самом деле опасался, что его друг и компаньон может разоблачить его, что парадоксальным образом, казалось, возбуждало его еще сильнее. Затем Колетта стала ласкать двумя руками его пах, обходя вздыбившуюся ширинку, под которой вздрагивала напряженная, плоть.

Пораженные величиной и мощностью этого запертого в клетку зверя, двойняшки придавили его рукой, а затем погладили по всей длине. И, отбросив все правила и нормы, они набросились на учителя музыки. Бабетта присела над его ртом и заставила ввести язык в свои пылающие глубины. Колетта тем временем растянула ширинку мосье и обнажила гигантский член, который едва мог проникнуть в ее маленький ротик.

Именно тогда я наконец покинула свое убежище и из последних сил присоединилась к трио. Бабетта следила за тем, чтобы повязка надежно закрывала глаза маэстро. В нужный момент Колетта предложила мне то, что сжимала в руках, и я выпила до последней капли сладостный эликсир, изливавшийся горячим и бурным потоком. Пока пила, я чувствовала, как мое тело наполняется жизнью, той самой жизнью, которую несло в себе извергающееся семя, источник всего сущего.

К тому времени, когда мосье Пельян снял с глаз повязку, я уже была в своей затхлой библиотеке. К величайшему изумлению маэстро, две бедняжки, которые считанные минуты тому назад чуть ли не теряли сознание, теперь сияли здоровьем, а на их щеках играл нежный румянец.

Когда отец вернулся в комнату и увидел, что его дочери полностью поправились, он обнял своего друга, поцеловал его руки и едва не пал на колени, чтобы расцеловать его ноги.

– Теперь я уверен, что не ошибался: ты в самом деле Уильям, – загадочно сказал мосье Пельян, измученный и озадаченный после игры.

В те давние времена именно Пельян обеспечивал нас сладким живительным эликсиром, не догадываясь, что исключительно ему мы обязаны жизнью. По мере того, как Бабетта и Колетта росли, расцветала и их красота, и скоро они стали прелестными женщинами.

На закате своей юности моим сестрам удалось выгодно использовать стареющего и утратившего прежнюю привлекательность мосье Пельяна. Учитель музыки имел много хороших друзей в самых изысканных театральных кругах. Видя, что близнецы наделены скорее лицедейским, нежели музыкальным даром, он составил им протекцию, и мои сестры беспрепятственно попали в труппу Theatresurletheatre, чья гостеприимная обитель располагалась на верхних этажах маленького театра на улице

Казимир-Дэлавинь.

Отец противился тому, чтобы его дочери оказались в той среде, которую он полагал богомерзкой. Однако, под давлением своего старинного друга Пельяна смирился, хотя и скрепя сердце. Труппой руководил, мосье Лаплюм, чьи профессиональные критерии были искажены неукротимым интересом к женскому полу. Не удивительно, что директор в мгновение ока оказался пленником столь схожих прелестей Бабетты и Колетты. Он был несколькими годами моложе мосье Пельяна, и мои сестры нашли в его лице прекрасную замену впадшему в немоцъ учителю музыки.

Итак, девушки нашли себе страстного и привлекательного любовника, с которым им было хорошо. Но не меньшее значение имела и практическая польза от этих отношений: они не только могли с гарантированной регулярностью получать необходимую дозу живительной жидкости, но и стремительно поднялись по неприступным для других ступеням театральной сцены, попав на первые роли. И хотя время, которое они потратили, чтобы добраться от подножья до вершины, было невелико, при их таланте оно могло быть еще меньшим. Очень скоро мои сестры снискали зловую неприязнь других актрис и, в соотношении обратной пропорции, горячее восхищение мужской части труппы. Как бы то ни было, несмотря на свою крайнюю молодость, сестры Легран стали знамениты. Им ничего не стоило соблазнять мужчин. Напротив, их окружали многочисленные поклонники, которые выстаивались в длинные очереди к дверям их гримерной и толпились у театральных подъездов. И, как Вы, наверное, уже сами догадались, должно было случиться неизбежное.

Как и следовало ожидать при столь громкой славе, стали поступать многочисленные брачные предложения. Мосье Лаплюм пинками разгонял претендентов, которые, нагрузившись цветами и подарками, выстаивались рядами под дверью гримерной сестер. Однако, несмотря на все свои усилия, вспыльчивый директор труппы все же не смог воспрепятствовать тому, чтобы в конце концов, почти одновременно, два кавалера похитили их сердца. Сестры Легран влюбились в двух молодых братьев.

В мгновенье ока я стала для них самым большим препятствием. И не только потому, что они отнюдь не горели желанием делиться со мной любовной влагой своих женихов. Важнее было другое: возжеленное замужество при данных обстоятельствах превращалось в мечту, которой не суждено было сбыться. К нашему величайшему сожалению, мы были

обречены на то, чтобы все время оставаться вместе. Где уж тут мечтать о создании своего очага? Сестры всерьез обдумывали возможность рассказать каждому из своих кавалеров страшную правду о моем существовании. Но где уверенность в том, что они не испугаются и не сбегут перед лицом страшного открытия? Ведь и сами сестры оказывались частью чудовищной троицы. А если удастся преодолеть это последнее препятствие, как узнать, какое потомство смогут принести они своим будущим мужьям? Вдруг они породят на Земле новую расу монстров, подобных нам? Их ненависть ко мне достигла таких пределов, что, я не сомневаюсь, они не раздумывая убили бы меня, если бы тем самым не подписали приговор самим себе. И я их не виню.

Доктор Полидори, не могу выразить словами, какое страдание и какое чувство вины терзало меня. Не подумайте, что мне нравится выставлять себя мученицей: если бы моя смерть не влекла за собой последствий, я сама бы покончила с жизнью. Впрочем, не буду драматизировать.

Мои сестры приняли самое жестокое из всех возможных решений. Им ничего не оставалось, как навсегда отказаться от любви. Но по той же причине, по которой они отказались от любви, они не могли отказаться от секса. Без каких-либо объяснений они неожиданно для всех расторгли помолвку, приговорив себя к вечной голгофе. Я считаю своим долгом вступить за своих сестер и ответить на все сплетни, чернящие их репутацию. Так называемое «легкое» поведение, в котором их несправедливо обвиняют, на самом деле лишь маска, за которой стоит мучительный акт отречения: отказ от любви. Именно этим парадоксальным аскетизмом объясняются легкомысленность, быстротечность и необязательность их отношений с мужчинами. Если мои сестры и шли на связи с мужчинами низкого нрава и лишенными духовной красоты или других достоинств, кроме чисто физической привлекательности, то поступали они так с единственной целью – избежать любви.

Др. Полидори, я позволяю себе посвятить Вас в некоторые интимные подробности из жизни сестер только для того, чтобы обелить их запятнанную репутацию. Я сказала все, что хотела в защиту их доброго имени и чести, и в дальнейшем воздержусь от излишних деталей. Я остановлюсь лишь на тех, которые имеют непосредственное отношение к нашим – Вашим, др. Полидори, и моим – интересам.

Как бы то ни было, мой милый доктор, годы не прошли бесследно. Я избавляю Вас от долгого рассказа об истории нашей жизни. Былая свежесть моих сестер померкла с течением времени. Некогда прекрасные высокие груди стали терять форму и упругость, пока не превратились в два иссушенных лоскута. Ягодицы, которые в прошлом могли бы стать эмблемой на знаменах, что развивались над бастионом сестер Аегран, теперь заплыли жиром и превратились в руины. И не было таких кремов и лосьонов, которые могли бы скрыть глубокие морщины, которые неотвратно множились с каждым днем. Ванны с теплым молоком не помогли осветлить старческие пятна, постепенно расплывшиеся по белоснежной, как фарфор, коже, которой они некогда так гордились. Теперь она напоминала толстую кожу животного. Постепенно стали таять толпы франтоватых молодых поклонников. Самые старые и верные любовники выдыхались и утрачивали мужскую силу или, хуже того, умирали. Короче говоря, сестры мои состарились и даже за деньги не могли найти себе мужчину, поскольку им уже не удавалось пробудить в нем влечение. С другой стороны, они были вынуждены держать форму. Как Вы понимаете, одно дело сомнительные слухи, которые всегда можно опровергнуть, и другое – появляться на глаза широкой публике. Др. Полидори, мы были близки к агонии, ведь уже несколько недель им не удавалось принести в дом ни капли живительного семени. Тогда – я как никто другой разделяю их унижение – мои сестры дошли до того, что стали переодеваться побриушками, отправляться к борделям на соседних улицах, где рылись в отбросах самых убогих публичных домов в поисках использованных презервативов, в которых сохранилась хоть капля – на большее рассчитывать не приходилось – сладкого белого эликсира жизни. Конечно, этого было недостаточно: так в пустыне можно пытаться напоить бедуина слезой, рожденной его собственным отчаянием. Мы умирали.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА

Париж стал для нас враждебным и опасным городом. Франция помнила сестер Лэгран, и, несмотря на то, что они стали такими, какими стали, старыми и уродливыми, их все еще узнавали на улице. Но если раньше слава развратниц придавала им определенный шик и окружала ореолом таинственности, порождаемой сплетнями, то теперь они выглядели, как пара престарелых нимфоманок, тщетно пытающихся найти себе мужчину в парижских пригородах. Вот почему, убедившись в том, что при подобных обстоятельствах самым мудрым выходом будет анонимность, они решили уехать из Парижа.

Каким только унижениям я ни подвергалась всякий раз, когда надо было предпринимать очередной переезд! Чтобы скрыть мое чудовищное обличье, мои сестры купили для меня клетку для перевозки собак. Сколько мучительных часов я провела в этой камере, настолько тесной, что туда насилу помещалось мое страдающее человеческое – с Вашего позволения – естество! Какие только расстояния я ни преодолела в багажных сундуках экипажей или, что еще ужаснее, в грязных трюмах кораблей, где моими единственными попутчиками были крысы.

Мы объехали почти все крупные города Европы. Мои сестры продолжали надеяться на то, что им удастся познакомиться с подходящими мужчинами, которые смогут обеспечить нас тем, в чем мы так нуждались, и мечтали о скромной, уединенной жизни и тихом счастье. В конце концов, к чему еще, как не к этому, стремится всякая одинокая женщина. В изысканном Будапеште, месте нашей первой остановки, сестры отправились вечером в аристократический район города и фланировали по берегу купая, величественной границе Буды, а к ночи, отчаявшиеся и униженные, снова собирали презервативы у дверей борделейна грязных набережных Пешта. В Лондоне им повезло еще меньше; в Риме они стали жертвами самых жестоких унижений; Мадрид оказался крошечным адом; в Санкт-Петербурге они чуть было не умерли от холода. Тогда они, по здравому и холодному размышлению, рассудили, что целью их странствий должны стать не большие города, но уединение полей: если одинокие пастухи из-за вынужденного воздержания удовлетворяют свои инстинкты при помощи вонючих овец, почему бы им ни принять женщин хотя бы с некоторой благосклонностью. Сестры

понимали, что стары, но как бы дряхлы они ни были, говорили они себе, вряд ли проиграют в сравнении с грязными животными. Однако поскольку предосторожность никогда не бывает излишней, после некоторых сомнений они на всякий случай научились блять.

Итак, мы решили остановиться в скромном милом домике в швейцарских Альпах.

Я склонна думать, что первая жертва, строго говоря, была плодом трагического союза необходимости и разврата.

Хозяин нашего уединенного пристанища был молодой и осанистый мужчина – мускулистый потомок галлов, чьи крестьянские повадки отдавали особой первобытной привлекательностью. Дерек Тальбот, так его звали, жил в маленькой хижине неподалеку от нас. Мои сестры взяли в обычай наблюдать за ним в окно сквозь цветущий палисадник. По причине своей первозданной невинности и почти архаичной привязанности к земле он имел обычай снимать рубашку, когда стриг газон, и это пробуждало в нас – скажем так – волнение, поскольку торс его был будто изваян руками Фидия, а на руках играли крепкие мускулы дикого зверя, всякий раз, когда он орудовал садовыми ножницами, его мышцы вздымались столь сладострастно, что нашему воображению являлся его член, который, казалось, был создан для эрекции так же, как руки для работы. Однако, естественное, возбуждение усиливалось из-за отчаянной необходимости заполучить любыми средствами и методами живительную влагу. Что касается меня, то сколько я ни пыталась отвлечь себя чтением, все могла отогнать навязчивую картину, посещавшую мое воображение в часы тяжелых раздумий. Я видела, как белый эликсир жизни извергается мощным потоком, подобно вулканической лаве, и тогда, стоило мне только представить, что я пью из этого теплого источника, мой рот наполнялся влагой. Между тем, вынужденное голодание привело меня, как и моих сестер, к страшному истощению, которое вскоре грозило перерасти в агонию. Если только не удастся добыть сладкий эликсир.

Несмотря на срочность и слабость, сестрам предстояло действовать с большой осторожностью. Первый их план был не лишен изобретательности. С давних времен они хранили старую акварельную афишу, которую часто разглядывали, предаваясь ностальгии. На ней они были изображены юными и очаровательными. Совершенно обнаженные, девушки целовались, одновременно лаская друг друга соски. Шея состояла в том, чтобы, будто случайно, оставить конверт с этой афишей в спальне Дерек Тальбота на видном месте. Рассматривались две возможности. Первая, более амбициозная, состояла в том, что непристойная картинка

разбудит в нем влечение к участникам сцены, которые хотя и были запечатлены в далекие времена их золотой славы, все же оставались самими собой. И тогда, возможно, разглядев в моих сестрах следы бывшего великолепия, он отдаст должное бывшим чарам сестер в облике нынешних Бабетты и Коветты. Вторая основывалась на том, что, будучи, в силу уединения, обречен на воздержание, Дерек Тальбот не удержится и решит сам достичь удовлетворения. В этом случае, действуя слаженно и согласованно, мы немедленно завладеем драгоценным продуктом его экстаза.

В тот же вечер, пока садовник заканчивал свои работы, Бабетта проникла в его флигель и оставила конверт с афишей на ночном столике. У домика была двухскатная крыша, и через слуховое окошко можно было хорошо видеть кровать Дерек Тальбота. Когда стемнело, моя сестра Бабетта тихонько пробралась по маленькой лестнице к слуховому окну. Колетта, как и было запланировано, смотрела в окно нашего дома, откуда отдаленный силуэт Бабетты смотрелся на фоне неба, как старая похотливая кошка, забравшаяся на крышу.

Молодой садовник начал раздеваться, присел на край кровати, зажег свечу и заметил, что на ночном столике лежит конверт, из которого выглядывает кусок афиши. Из своего укрытия Бабетта видела, как юноша удивленно изучает конверт со всех сторон и с любопытством пытается понять, что за часть тела изображена на торчащей из конверта картинке. Он понимал, что все это адресовано явно не ему, однако не мог побороть любопытство. Он слегка потянул за листок и увидел лицо, которое показалось ему знакомым. Через некоторое время он догадался, что это смутно знакомое лицо принадлежит одной из сестер-близнецов, и нашел тому подтверждение, когда, потянув еще раз за листок, обнаружил точно такое же строго симметричное изображение. Моя сестра Бабетта видела, как у Дерек Тальбота глаза на лоб полезли, когда он вытащил афишу целиком. Бабетта следила за происходившим с тревогой и волнением, которые достигли пика, когда садовник лег на кровать и когда стало возможно разглядеть его член, восстававший по мере того, как Дерек в подробностях разглядывал картинку. Его рука плавно заскользила вниз, будто повинувшись чьей-то чуждой, а вернее сказать, враждебной ему, воле. Бабетта улыбнулась алчно и похотливо и облизнула губы, как это делает хищник, который готовится наброситься на жертву после долгой засады. Дерек Тальбот положил афишу рядом с собой на подушку и начал освободившейся рукой тихонько поглаживать головку пениса, пока она полностью не открылась. Тогда моя сестра, с трудом балансируя на узеньком карнизе, подняла юбки и намочила большие пальцы обильной слюной. Одной рукой она стала легонько проводить вокруг соска, который сделался твердым и рельефным, а другой – ласкать вульву. Она ласкала себя в том же ритме, в котором поднималась и опускалась рука садовника. Моя сестра пристально следила за выражением лица Дерек

Тальбота, точно регулируя собственные движения. Она хотела, чтобы момент высшего наслаждения наступил ни раньше и ни позже, чем у юноши. В тот момент, когда садовник уже был близок к оргазму, сулившему небывалую усладу, а с ней и обильный, мощный поток столь необходимой нам жидкости, произошли одновременно два события. Глаза Дерекы невольно остановились на Распятии над кроватью, с которого на него смотрел Христос. Юноша почувствовал, будто его уличили во всей его грубой непристойности и Бог, Всемогущий и Карающий, указывает ему перстом на самые мрачные глубины преисподней. Охваченный страхом, садовник остановился, сорвал Распятие и, прикрыв пенис – который в мгновение ока сжался до крохотных размеров, – принялся креститься и молить о прощении. Моя сестра, на лице которой застыла гримаса недоумения, окаменела в той позе, в которой находилась – на полусогнутых ногах, с одним пальцем, погруженным в свои потаенные недра, и с другим, застывшим на полпути от рта к соску. Она будто стала аллегорической фигурой, которая говорит: «Хотите увидеть самое ничтожное существо в мире – посмотрите на меня!» Если бы существовала скульптура, воплощающая растление, то это была моя сестра, Бабетта Легран, живое и патетическое изваяние, застывшее в холодной ночи с заголенным старческим задом. Что же касается Дерекы Тальбота, то ему как будто было мало и, гневаясь на самого себя, он со всей силой ударил кулаками по ночному столику, отчего стоявший на нем тяжелый светильник подскочил и ударил по раме слухового окошка. Оконце резко повернулось вокруг своей поперечной оси, угодив прямо в челюсть Бабетты, которая, потеряв сознание, упала на стекло. Оно накренилось, и тело моей сестры соскользнуло по нему в комнату. Сохраняя прежнюю позу, Бабетта с грохотом рухнула на пол. Садовник с ужасом смотрел, как божественное проклятие падает с небес, словно разрушительная, непристойная комета – ведь ее палец по-прежнему оставался на месте, – и лишь чудом увернулся.

Колетта, которая ждала сигнала с нашего балкона, не могла понять, что за фантазмагорическая сцена разворачивается на ее глазах, однако, услышав отдаленный шум, заподозрила неладное. Она сбегала вниз по лестнице, схватила висевшее над камином ружье и, как солдат, бросилась в ночь к домику напротив. Это было началом трагедии.

Колетта, сжимая в руках ружье, ворвалась в дом, подобно стражу закона. Ничего не видя и не слыша, она вскинула оружие перед собой и только тогда сквозь прицел увидела голого и перепуганного садовника, а рядом с ним нашу сестрицу Бабетту, которая, конфузясь и покачиваясь, пыталась подняться на ноги.

Охваченные отчаянием, мои сестры, по-прежнему держа юношу под прицелом, привязали его запястья к изголовью кровати, а щиколотки – к подзору. Посомневавшись, они сняли Распятие и приготовились извлечь из тела садовника животворящий нектар. Моя сестра Колетта приставила дуло ружья к виску голого и перепуганного Дерек Тальбота и со смесью гнева, раздражения и страха потребовала от него содействия. В мгновение ока мои сестры превратились в обычных разбойниц. Однако, как Вы сами понимаете, др. Полидори, их добыча была не только странной, но и весьма трудной. Легко представить себе работу простого разбойника: ведь если бы речь шла о том, чтобы отобрать деньги и вещи, это было бы проще простого. Коже если бы жертва должна была бы указать, где спрятаны ценности, достаточно бы было твердо и убедительно пригрозить ей. И я подозреваю, что приставленное к виску дуло является весьма веским доводом. Но мои сестры вскоре осознали, что имеют дело с самым сложным из всех случаев разбоя. Вполне возможно отобрать вещи; можно вырвать признания, вызвать слезы и стоны. Но как завладеть тем, что не подчиняется даже воле самой жертвы? Женщины, – к которым я себя не отношу, – могут симулировать удовольствие и даже сопутствующее ему сокращение мышц. Но вам, мужчинам, симуляция недоступна. Как добиться эрекции, если воля вашего партнера отказывается быть вашим сообщником? И уж совсем невозможно симулировать истечение драгоценного мужского семени. Именно в таком отчаянном положении оказался Дерек Тальбот. Чем больше от него требовали, чтобы он отдал свое бесценное сокровище, тем меньше шансов на удачу у него оставалось. Не в силах достичь хоть какой-нибудь эрекции, он был постыдно беспомощен, а его бравый воин, который еще несколько минут назад стоял решительно и гордо, словно лев, превратился в некое подобие жалкого мышонка, который едва высовывал свою голову из норки – поросшего волосами лобка. Сестры поняли, что по мере того, как будет расти давление на садовника, будет таять надежда получить

желаемое. По правде говоря, картину, представшую глазам Дерика Тальбота, с трудом можно было назвать соблазнительной: две вышедшие из себя старухи, одна из которых угрожает оружием, как беглый каторжник, а вторая, униженная и посрамленная, мечется по комнате и бьется головой о стены. Колетта решила сменить тактику. Сначала она убедилась в том, что запястья и щиколотки садовника надежно связаны веревками, затем прислонила ружье к стене, подошла к зеркалу и внимательно посмотрела на себя. Она слегка поправила прическу, бессознательно воспроизводя тот чувственный ритуал, который на заре своей юности совершала в своей костюмерной перед выходом на сцену. Ей показалось, что в ее светлых глазах – теперь обрамленных складками век – промелькнул отблеск былой чувственности. Затем Колетта перевела взгляд на свою грудь и сказала себе, что, несмотря на беспощадные годы, она выглядит не так уж и плохо или, по крайней мере, благодаря корсету, который убирает лишнее и добавляет необходимое, – пусть это и чистая иллюзия – не совсем отталкивающе. Она села, положив ногу на ногу, и обнажила бедра. Она не обольщалась насчет себя, увядшая кожа свисала складками; жир вытеснил то, что раньше было мышцами, которые придавали ногам точеную стройность, но, несмотря на разрушительные следы прошедших лет, она все еще видела в себе былую обольстительную сифиду. Почему же, – спросила она себя, – если ее собственное воображение – а оно обычно становилось жертвой беспощадной ностальгии – сейчас смилостивилось над ней, оно не может распалить тлеющие угли былого пламени? Не вставая со стула, она повернулась лицом к молодому садовнику, наблюдавшему за ней с некоторым любопытством, и ей показалось, что в его взгляде промелькнула тень желания. Она не ошибалась.

Дерек Тальбот взирал на нее почти с интересом. Колетта почувствовала себя красавицей. Втайне она всегда считала себя привлекательнее, чем Бабетта. Только идиот или слепец мог путать ее с сестрой. Она посмотрела на Бабетту, пытавшуюся привести себя в порядок, с искренним сочувствием. В самом деле, садовник и глазом не повел, чтобы взглянуть на Бабетту, зато не отрываясь смотрел на обнаженные ноги Колетты. Моя сестра раздвинула колени и, глядя Дереку Тальботу прямо в глаза, провела рукой по своим бедрам, а затем протянула руку и к прислоненному к стене ружью. Она погладила его ствол, одновременно переведя взгляд на член юноши, – который, к слову сказать, начал восставать – и тут же поднесла приклад ружья к своему лобку и зажала его между ног. Обводя языком вокруг дула, она начала медленно и размеренно двигаться, как если бы ехала рысцой на лошади. К Дереку Тальботу вернулось то выражение лица, которое у него было несколько минут назад, когда он рассматривал афишу. Моя сестрица Колетта, увидев, что «дружок» садовника возвращается в царство живых, встала, подошла к кровати, опустилась на колени и, будто совершая светский церемониал, взяла его обеими руками и провела языком от основания до головки, а затем от головки до основания. Бабетта, потихоньку приходившая в себя, следила за происходившим с удивлением и недоверием. Колетта, не отпуская свою жертву, подняла глаза и не без злорадства взглянула на Бабетту, будто говоря: «Я, Колетта Легран, смогла сделать то, чего тебе, ничтожная старуха, никогда бы не удалось».

Колетта ощутила под своими ладонями мощный толчок. Не теряя ни секунды, она обернула свой трофей заранее заготовленным платком, и в ту же секунду огнедышащий вулкан изверг из себя белоснежную драгоценную лаву. Когда сокращения мышц прекратились, Колетта сжала пальцы, чтобы получить все до последней капли. Когда животворная жидкость оказалась в платке, Колетта связала уголки и спрятала импровизированный мешочек в свои одежды, Дерек Тальбот, который все еще дрожал, как лист, неожиданно открыл глаза. Из самых сладостных грез он перенесся в худший из кошмаров. Перед его взором предстали две дряхлые старухи, жадные и ненасытные, которые смеялись и ликовали, как гиены, Дерек Тальбот ощутил приступ тошноты, который перерос в неудержимую рвоту. Сначала он стал умолять, чтобы его развязали, а

затем обрушил на них оглушительные проклятья, грозя заявить на них властям и раструбить на всех углах, что сестры Легран – самые грязные из всех шлюх.

Сестры поспешили принести мне похищенный нектар. Я жадно набросилась на него, и по мере того как живительная влага стекала по моему горлу, в наши тела возвращалась жизнь, пока, наконец, мы не обрели прежние силы. Из маленького домика напротив продолжали доноситься крики и проклятья Дерека Тальбота.

И тогда мои сестры осознали всю непреложность того факта, что, если молодой садовник и вправду расскажет о происшедшем, все сплетни, которые о них ходили, получат окончательное подтверждение.

Исполненные жизненных сил и небывалой решимости, прихватив ружье, они вернулись в домик Дерека Тальбота. Когда садовник снова их увидел, он разразился новыми, еще более страшными проклятьями. Бабетта вскинула ружье, навела дуло на его переносицу и выстрелила.

Так было положено начало бесчисленному количеству преступлений.

Я склонна думать, что мои сестры никогда не думали о себе как об убийцах-злоумышленницах. Они убивали с той врожденной естественностью, с какой тигр вонзает клыки в мозг газели. Они убивали без ненависти и злобы. Они убивали без сострадания и сопереживания. Они убивали без плана и опасности. Они не испытывали ни угрызений совести, ни удовольствия. Они убивали по законам природы: просто для того, чтобы выжить. Неожиданно для себя мы превратились в кочевников. Мы приезжали в город или деревню, мои сестры намечали жертву, получали свой трофей и убивали снова и снова, пока мы не отправлялись в путь в поисках иного пристанища. Я уже рассказывала Вам, какомуки были сопряжены для меня с переездами. Мои же сестры, напротив, всякий раз были как будто счастливы начать новую жизнь. Путешествия приводили их в невероятное возбуждение. За один год мы объехали больше городов и весей, чем Вы за всю вашу жизнь. Случай бросал нас с крайнего запада Европы на ее крайний восток, из Лиссабона в Санкт-Петербург, с севера на юг, из нордических королевств на остров Крит. Мы видели самые экзотические земли по обе стороны Атлантики: от берегов Южных морей и Рио-де-ла-Плата до Соединенных Штатов Северной Америки. Вынуждена признаться, что не могу подсчитать, хотя бы приблизительно, сколько трупов мы оставили за собой.

Др. Полидори, что касается меня, то я больше не могу молчать и продолжать нести груз мучительных угрызений совести. И дело не в усталости. Я уже старое чудовище. Если я и решилась открыться перед Вами, то лишь потому, что знаю: между нашими душами существует некое глубинное сходство, уверена, мы можем быть полезны друг другу. В обмен на то, что, как Вам теперь известно, мне нужно, я могу предложить нечто, чего всегда жаждало Ваше сердце. Завтра Я Вам это передам. А сейчас мне надо поспать, силы оставляют меня. Я дам о себе знать.

Анетта Легран

Далекий огонек на вершине горы погас.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Джон Уильям Полидори перечел последние строки письма. Его снова охватил ужас. Однако к страху примешивалось кое-что еще. Он представлял себе трупы, найденные в окрестностях Шийонского замка. Не спрашивая разрешения, в его воображение вторгся Дерек Тальбот, привязанный к кровати, с простреленным лбом, утопающий в собственной крови. Но тут Полидори обнаружил, что зловещие письма его больше не пугают; напротив, по всей видимости, единственным существом, способным оградить его от безжалостной ненасытности сестер Легран, было это чудовище. Более того, росла надежда извлечь из сложившейся ситуации некоторую выгоду. Но, спрашивал он себя, знает ли Анетта Легран, чего жаждет его сердце более всего? Почему-то он надеялся, что знает. Полидори готов был без стыда открыть ей свои самые постыдные чаяния, исповедоваться в самых грешных мыслях. Неожиданно ему открылось, что наигнуснейшая из трех сестер сможет не только защитить его от смерти, но, более того, в корне изменить его жалкое существование.

Джон Полидори сложил письмо и спрятал его в конверт. Подобно нетерпеливым любовникам, он ждал окончания дня – который еще даже не начался, – чтобы получить следующее письмо. Ему и в голову не приходило лечь спать. Он не догадывался, каким образом Анетта Легран подбрасывает ему письма на ночной столик, но был уверен в одном: ее никто не должен видеть. Поэтому, на случай, если она решит передать ему послание, Джон Полидори решил уйти из комнаты.

Секретарь стал спускаться по лестнице, и с площадки ему открылась зловещая картина: гостиная была освещена погребальным светом канделябра, тускло мерцавшем на середине стола. В северном торце стола сидел Лорд Байрон, напротив – Перси Шелли, по бокам расположились Мэри и Клер. Мерцающий свет, который источали уголья в камине, причудливо сочетался с пламенем канделябра и придавал всей картине сходство с шабашем ведьм. Глаза Байрона странно поблескивали, чего Полидори раньше никогда не видел. Клер сидела с неестественно вздернутым подбородком, положив ладони на стол. В редких всполохах пламени ее глаза казались закрытыми. С лестничной площадки Полидори не мог разглядеть лица Мэри, хотя слышал ее прерывистое дыхание. Перси Шелли утратил свою обычную саркастическую маску и выглядел скорее испуганным. Перед Байроном лежала раскрытая книга. Резким,

размеренным голосом, какого Полидори не мог припомнить, его Лорд читал вслух:

...Но поднялась тревожно вдруг
Прекрасная леди Кристабель —
Она услышала странный звук,
Не слыханный ею нигде досель,
Как будто стоны близко слышны
За старым дубом, с той стороны.
Ночь холодна, лес обнажен:
Может быть, это ветра стон?..
...Чу! бьется сердце у ней в груди —
Святая дева, ее пощади!
Руки с мольбой сложив под плащом,
Обходит дуб она кругом,
Что же видит она?

Полидори заметил, как побледнел Шелли. Безотчетная дрожь вынудила его вцепиться в стул. Байрон продолжал:

...Под лампой леди, склонена,
Обводила тихо глазами кругом,
И, глубоко вздохнув, она
Вся словно вздрогнула, потом
Распустила под грудью пояс свой.
Одежда упала к ногам, легка...
Она стоит совсем нагой!
Взгляни: ее грудь, ее бока...^[1]

На этом самом месте романа Колриджа *Кристабель* Перси Шелли издал оглушительный вопль, вскочил со стула и вслепую бросился бежать, пока не рухнул, содрогаясь в конвульсиях и бормоча что-то нечленораздельное, у ног Байрона. Трое, как могли, подняли его и перенесли в кресло. Шелли бредил. Покрывшись холодным потом, со взором, затерявшимся в собственных галлюцинациях, он стал описывать ужасающие видения, которые вызвал у него отрывок, прочитанный Байроном. Он говорил о женщине, у которой в середине груди вместо

сосков были два грозных глаза.

Полидори, тайный свидетель, взирал с безграничным удовольствием на жалкий спектакль, который представлял этот невозмутимый молодой скептик, кичившийся своим атеизмом. Теперь, находясь под властью страха, он публично предоставил доказательства своей слабости и суеверия. Секретарь Байрона решил, что ему пора выйти на сцену. Он заранее смаковал сладкий вкус мести. Он, по мнению Шелли, бедный сумасшедший, теперь выступал в роли врача, которому предстояло оказать помощь несчастному страдальцу, мнящему себя поэтом.

– Что здесь за крики? – спросил Джон Полидори с высоты лестничного пролета с совершенно неуместной невозмутимостью мудреца Байрон попросил его сделать что-нибудь для друга. Полидори сбежал вниз по лестнице и с преувеличенным беспокойством, – которое, вне всякого сомнения, указывало на его великодушие и умение прощать обиды, – склонился над беднягой. Вмешательство доктора Полидори произвело мгновенный эффект. В ту самую секунду, когда он уже почти взял больного за запястье, чтобы нащупать пульс, блуждающий взгляд Шелли случайно остановился на секретаре Байрона.

– Не разрешайте этому гадкому червю прикасаться ко мне своими мерзкими руками! – вскричал «больной», вскакивая на ноги и с отвращением шарахаясь в сторону.

Очевидно, гордость Шелли возобладала над опийным дурманом.

– Он не знает, что говорит... – прошептал Полидори на ухо своему Лорду.

– Я прекрасно знаю, что говорю, – гаркнул Шелли, привел в порядок свой костюм, твердой походкой вернулся к столу и занял свое место. – Продолжим, – заключил он, как если бы ничего не произошло.

Мэри подошла к нему, обняла со спины и шепнула:

– Нам лучше отдохнуть...

– Я сказал, что со мной все в полном порядке. Продолжим чтение.

Мэри подчинилась и села за стол. Байрон, опасаясь нового припадка у своего друга или, что было бы еще хуже, у секретаря, полагал, что во избежание бед лучше завершить собрание. Он находился в затруднительном положении. Надо было найти соломоново решение. Если он прекратит чтение, то оскорбит Шелли, а если продолжит, сделав вид, что ничего не случилось, то рискует вновь увидеть полет своего секретаря из окна. Внезапно лицо Байрона просветлело. Он предложил разойтись, но при условии, что каждый из присутствующих, вдохновившись только что прочитанным отрывком из Колриджа, обязуется сочинить рассказ в

фантастическом духе. Через четыре дня, ровно в полночь, они снова соберутся с тем, чтобы каждый огласил свое сочинение.

Сам того не сознавая, Байрон вызвал своего секретаря на самую беспощадную из дуэлей: беззащитный и неопытный, Полидори не имел ни малейшего шанса одержать победу в поединке со столь умелым противником.

Четыре часа провел Джон Полидори один на один с листком бумаги, который упорно оставался чистым. Он окунал перо в чернильницу, ерзал на стуле, вставал, ходил по комнате из угла в угол, поспешно возвращался к столу, как если бы только что поймал верную и точную фразу, которой можно было бы начать рассказ, но когда наконец собирался излить ее на бумагу, то оказывалось, что чернила на кончике его пера уже высохли. А к тому времени, когда он заканчивал удалять пленку, которая образовывалась на поверхности чернильницы, фраза испарялась, столь же летучая, как винные пары. Сцена повторялась снова и снова, как в дурном кошмаре. Джон Полидори знал, что у него есть сюжет, что он находится рядом, под рукой. Однако по причинам, которые можно было бы квалифицировать как чисто бюрократические и не имеющие никакого отношения к его таланту, он никогда не мог переступить порог, отделявший *rescogitanse* богатого воображения от жалкой *resexterna* бумаги. В конце концов, он возненавидел самое субстанцию этого листка. Трудность заключалось в одном и ни в чем другом: почему такой дух, каким наделен он, обитатель горнего мира высших идей, должен спускаться в дольний мир бумаги? Истинный поэт не нуждается в том, чтобы оставить след или свидетельство того невыразимого духовного опыта, каковым является Поэзия. Пребывая в этом убеждении и предчувствуя, что очень скоро кто-нибудь решит за него эту – так сказать – «техническую» проблему, Джон Уильям Полидори, сжимая в руке перо, заснул глубоким сном за письменным столом.

Сквозь жалюзи начал просачиваться бледный утренний свет. Джон Уильям Полидори проснулся, потому что у него онемела рука, а позвоночник пронзала острая боль. Он распрямился, вытянул ноги, закинув их на стол, и заснул бы снова, если бы его внимание не привлекла одна деталь: он не помнил, чтобы закрывал жалюзи. Сначала он подумал, что решетки развернула буря, но, приглядевшись, решил, что как бы сильно ни дул ветер, это еще не объясняет, почему шпингалет аккуратно задвинут. Полидори автоматически перевел взгляд на светильник. Как он и ожидал, рядом с подсвечником лежал черный конверт с пурпурной печатью, в центре которой была выдавлена буква *L*. Впервые он почувствовал гибельное, материальное и близкое дыхание слезки.

Мой дорогой доктор,

Здравствуйте. Надеюсь, Вы отдохнули. Мне не хотелось Вас беспокоить, и потому я проникла к Вам тайком. Я видела, как Вы спали. Вы были похожи на ангела. Меня умилило детское выражение Вашего лица. Я позволила себе ослабить Ваш галстук и снять ботинки. И если судить по улыбке, которой во сне Вы меня одарили, похоже, Вы были мне благодарны.

Полидори заметил, что и вправду разут, и вспомнил, что накануне вечером не снимал обувь. Подойдя к зеркалу, он убедился, что галстук свободно висит вокруг ворота сорочки. Приступ тошноты сложил его пополам. Почти рефлекторным движением Полидори снял галстук и, держа его указательным и большим пальцем, бросил в корзину для бумаг, которая стояла под письменным столом. Только тогда, когда он опустился на колени, он заметил, что прямо под самым его носом, в центре стола, рядом с чернильницей, там, где вчера лежал жалкий чистый лист, появилось несколько тетрадей, исписанных убористым почерком. На секунду он даже засомневался, не он ли сам перед сном исписал эти тетради. Как ни парадоксально, но возможно именно благодаря бросающейся в глаза яркости, Джон Полидори не сразу заметил, что поверх тетрадок стоит серебряная шкатулочка в стиле рококо, на филигранной крышке которой изысканный орнамент, сплетаясь, образует букву *L*, точно такую же, как и на конверте.

Боясь прикоснуться к какому-либо из этих неожиданных даров, словно они были источником смертельной заразы, Полидори решил найти разгадку

тайны в письме.

Итак, Вам уже известно, обладателем чего являетесь Вы. Но я еще не сказала Вам, что предлагаю в замен. Я знаю, чего Вы жаждете более всего. Я могла бы поклясться, что знаю, о чем Вы всегда мечтали, в чем причина Ваших бессонных ночей и что туманит Ваш взгляд, когда Вы предаетесь дневным грезам. Догадываюсь, что горькая пища, которой питается Ваша душа, не что иное, как яд зависти. Я знаю, что Вы готовы отдать палец правой руки за пару рифмованных сонетов и всю руку за полноценный рассказ. Не сомневаюсь, что за три сотни томов добротных сочинений Вы бы отдали душу самому дьяволу. Так вот, то, что я прошу у Вас, не нанесет Вам никакого невосполнимого ущерба. Вы ничего, абсолютно ничего не потеряете, если согласитесь дать мне то, что для меня жизненно необходимо. Я не прошу о милости. Также я не обещаю Вам бессмертия. Хотя, пожалуй, нечто, что на него более всего похоже: посмертную славу. Пожалуй, единственное, чему я научилась за долгие годы своего существования, это писать. Взамен за то, что мне необходимо для поддержания жизни, я подарю Вам авторство одной книги, которая – не сомневайтесь – возведет Вас на вершину литературного Олимпа. Вы поднимитесь на самый высокий пьедестал славы, даже более высокий, чем тот, что занимает Корд, которому Вы служите. Тетрадки, которые Вы видите на столе, являют собой первую из четырех частей некоего повествования. Читайте, что это подарок. Прочтите их: если решите, что они ничего не стоят, бросьте их в огонь, и я больше никогда Вас не потревожу (я могу говорить лишь за себя, но не за моих сестер). Если же, напротив, Вы снизойдете до того, чтобы поставить свое имя на титульном листе, тогда Вы дадите мне то, в чем я нуждаюсь. Вели Вы согласитесь, этой же ночью я передам Вам вторую часть.

Это будет первая из трех последующих порций. Истолько же раз я прибегну к Вашим услугам. Содержимое шкатулки упростит дело, вот увидите.

Полидори читал рукопись с жадностью. Первый абзац просто-таки поверг его в изумление. Это были точно те строки, которые он сам хотел написать, и не только прошлой ночью, но всю свою жизнь. Так, буква за буквой, точка за точкой, фраза за фразой перед ним разворачивался текст, который его рука отказывалась начертать. Полидори не мог избавиться от ощущения, что он читает рассказ буквально тот самый, о котором мечтал. И вот он здесь, он принадлежит ему, в нем его слава и величие, его бессмертие, эта книга вознесет его над самим Лордом. Наконец он

перестанет быть униженной и безымянной тенью Байрона. Наконец он заставит зазвучать фамилию, которую его отец, бедный секретарь, так и не смог прославить.

То будет не плагиат, говорил он себе, и не кража. Разве не будет этот текст сыном, рожденным от его собственной плоти? Разве не его семя даст жизнь рассказу, который еще предстоит зачать? Нет, сказал он себе, в самом что ни на есть прямом, а не метафорическом смысле, ему предстоит стать отцом новорожденного.

Кроме того, кто ему поверит, если он вдруг решит сказать правду?

Джон Полидори открыл шкатулочку и глубоко вдохнул приятный аромат, который всегда предшествует самым сладостным грезам. Он боялся галлюцинаций, вызываемых полынью. Его пугало чрезмерное возбуждение, происходившее от *cannabis*. Опий, напротив, погружал его в небесное блаженство. В *cannabis* Полидори страшила не утрата стержня, удерживавшего его разум, но, как раз наоборот, обострение критического мышления, та циклическая переменчивость, которую он сам определял как *волнообразная мысль*, что означало следующее: против любого, приятного помысла – неважно какого – немедленно восставал другой, карающий предыдущий. Таким образом, со временем Полидори пришел к выводу, что единственным способом избавиться себя от опасности, нависшей над его рассудком, было физическое страдание, которое лишало его всякой способности к критическому мышлению. И сколько он ни пытался убедить себя, что эти муки порождены все тем же особым мышлением, боли в груди или бесконтрольная частота ударов сердца, которое несло со скоростью обезумевшей лошади, рано или поздно становились почти материальными.

Опий, наоборот, полностью освобождал его от каких бы то ни было критических суждений в отношении собственной персоны и делал это даже лучше, нежели хрупкий сон, который зачастую прерывался по причине внезапной и необъяснимой тревоги. В таких случаях он просыпался, охваченный страхом, и уже не мог ни уснуть, ни избавиться от беспокойства. Опий же погружал его в светлый сон, свободный, как ни парадоксально, от всякой мысли, в духовную безмятежность, которая не нуждалась в посредничестве тела. Чистая душа. Идея. Сон, который снится совершенной сущности.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Уже наступила ночь, когда Джон Полидори сел за *secretaire*, решив, наконец, начать церемонию. Он набил свою трубку присланным опиумом, затем как был, не раздеваясь, растянулся на кровати и только тогда поднес огонь к чубуку. Он затянулся и на несколько секунд задержал дым – сначала во рту, смакуя его вкус. Потом перевел взгляд на черные каменистые горы, силуэты которых грозно вырисовывались на фоне испуганного неба. Тучи, плывучие города, грозили вот-вот рухнуть на землю. Дикий ветер трепал купы сосен и быстрыми вихрями поднимал с земли опавшую садовую листву.

В тот самый момент, когда Полидори зажег спичку, озеро осветила молния, и дом сразу же сотряс удар грома.

Пошел дождь.

Джон Полидори погладил тетрадки, на которых было записано начало рассказа, пересел на стул и положил ноги на *secretaire*. Он погрузился в царство покоя и лишь тогда пропустил воздух через горло, неспешно, четко контролируя дыхание. Он вдыхал волшебные пары, которые постепенно усыпляли грубую, страждущую материю. Выдыхая, он, словно посредством какого-то тайного заклятия, вместе с голубоватым дымом изгонял из себя уродливых демонов повседневности. Он обнял тетрадки.

Джон Полидори приближался к странному порогу, пронзительному полусну, который возносил его к ранее неведомым высотам. Он поднимался по каменной спирали. Он сразу же признал в этой конструкции магическую *Rundetaarn*. Он был твердо уверен, что круглая башня, лишенная лестниц, была той самой, вершины которой достиг верхом на коне король Христиан IV. И вот Джон Полидори уже скачет на гнедой лошади с бронзовой гривой и добирается до самой вершины, и у ног его простираются все королевства по обе стороны Балтийского моря. С величественной, сдержанной улыбкой он сделал еще одну затяжку. Теперь он пересекал лес черных деревьев, на ветвях которых висели черепа, из чьих глазниц выглядывали филины. Он не чувствовал ни малейшего страха. Галопом он въехал на тропинку, в начале которой стояла доска с надписью: *Вилла Диодати*. Не слезая с лошади, он поднялся по ступеням портика и оказался в зале: с высоты седла он взирал со смесью жалости и безразличия на то, как эти ничтожные существа сплелись в один

развратный клубок, подобно сваре гиен. Лорд Байрон стоял на коленях и лизал язык Перси Шелли, одновременно проникая в Мэри, которая, в свою очередь, покусывала соски своей сестры Клер так, что они кровоточили. И вот он, жалкий секретарь, сын писаря, докторишка-ипохондрик, смешной *Полли Долли*, стал рукой Бога. Охваченный этим самым божественным гневом, он взметнул десницу к небу и из ничего сотворил меч. Конь взвился на дыбы и пустился в бешеную скачку по красному ковру. Полидори описывал круги вокруг сбившихся в кучку животных, которые в ужасе молили о милосердии. На полном ходу, с ловкостью казака, он схватил лорда Байрона за волосы и взмахнул мечем. Один меткий удар, и голова Байрона, продолжая гримасничать и стенать, оказалась в правой руке Джона Уильяма Полидори. Глаза сначала посмотрели наверх, затем вниз, потом попеременно вправо и влево, пока не наткнулись на тело, которое, не догадываясь о том, что с ним произошло, продолжало совокупляться с Мэри. Голова Байрона, подвешенная за волосы, разразилась бредовым монологом: она умоляла, проклинала, рыдала, испускала душераздирающие вопли, которые скорее походили на безумный хохот. Полидори, не в силах больше слушать, достал носовой платок, затолкал его в рот своего Лорда и сразу же спрятал голову в седельную сумку.

С верхнего этажа доносились голоса, которые казались ему смутно знакомыми. Полидори спешил, перебросил сумку через плечо и поднялся вверх по лестнице.

Стоны доносились – теперь он отчетливо это слышал – из его собственной комнаты. Он вошел, но никого не увидел.

– А я вас ждала, – проговорил порывистый женский голос. Внезапно стул, стоявший у письменного стола, развернулся, и перед очарованными глазами Полидори предстала женщина столь совершенной красоты, какой ему никогда не приходилось видеть. Она была полностью обнажена, одна нога возлежала на подлокотнике стула, вторая обвила вращающуюся ножку. Джон Полидори не слишком разбирался в женщинах, однако вынужден был признать, что перед ним находилось существо, превосходящее красотой самого Перси Шелли, чье очарование – этот очевидный факт Полидори, мучимый одновременно завистью и порочным влечением, не мог отрицать – не знало себе равных. В общем, то была совершенная женская копия Шелли.

– Я Анетта Легран, – сказала она и протянула ему руку, указательный палец которой еще недавно покоился на прекрасных губах.

Джон Полидори преклонил колени и благоговейно припал к руке. Из сумы, перекинутой через его плечо, доносились приглушенные жалобы

головой Байрона, которая трепыхалась, как агонизирующая рыба.

Анетта Легран смочила указательный палец и прочертила влажную дорожку, которая брала начало у соска – розового и напряженного – и заканчивалась у рыжеватых завитков лобка.

Не говоря ни слова, Анетта Легран поднялась, долгим поцелуем прильнула к губам Джона Полидори и, бережно подхватив его под мышки, пересадила на стул. На полу шевелилась сумка, а жалобное бормотание Байрона теперь становилось все более внятными, как если бы ему удавалось понемногу избавляться от кляпа. Не отрывая взгляда от своей партнерши, Полидори взял подсвечник, стоявший на столе, и с удивительной меткостью сильным ударом послал его прямо в сумку. Раздался звук треснувшей кости.

Анетта Легран расстегивает одну за другой пуговицы на брюках Полидори и извлекает из их глубин скромный, хотя и миловидный трофей, который более всего походит на небольшой шампиньон.

Анетта Легран поднимается, отходит на несколько шагов и, не оборачиваясь, протягивает Полидори несколько исписанных тетрадок, на обложке первой из них значится: *ВАМПИР*, и чуть ниже *Часть вторая*.

– Вот моя доля по договору, – произносит она голосом, который Полидори кажется песней виолончельной струны.

Секретарь Байрона обнимает тетрадки, закрывает глаза и прижимается щекой к корешкам.

– Вы не будете читать?

– Нет необходимости, достаточно того, что я прочел первую часть.

Анетта Легран опускается на колени у ног Полидори и собирается получить то, что ей причитается согласно пакту.

Джон Полидори, не выпуская из объятий тетрадки, раздвинув ноги, трепеща и тяжело дыша, разглядывал свой маленький член, в то время как Анетта Легран ласкала его кончиком языка. Сумка, в которой лежала голова лорда Байрона, – с виду совершенно безжизненно валявшаяся около двери, – снова начала биться в конвульсиях, сопровождаемых глухим бормотанием. Джон Полидори наслаждался, оттягивая расплату, что выражалось в легких содроганиях лиловой головки его члена. Анетта Легран чувствовала под своими пальцами токи, которые то приливали, то отливали, вызывая у нее лишь отчаянную жажду, грозившую вскоре перерасти в усталость. И чем настойчивее она требовала от своего любовника, чтобы он немедленно выполнил свою часть договора, тем больше Джон Полидори медлил.

Как будто против своей воли, секретарь в конце концов расплатился. Вознаграждение самому Полидори показалось слишком щедрым. Анетта Легран прильнула к источнику с жаждой пустытника. Она пила, как ненасытное животное, закатив в экстазе глаза.

Джон Полидори по-прежнему прижимал к себе тетради, крепко сомкнув веки и дрожа, как лист.

Едва умолкли пароксические хрипы, как он услышал резкий, обжигающий голос, который, казалось, доносился из глубины пещеры. Джон Полидори открыл глаза, и ему открылась сцена, страшнее которой ему едва ли приходилось видеть: женщина, еще несколько минут назад бросившая к его ногам всю свою красоту, резко поднялась. В ужасе Джон Полидори смотрел на некое подобие рептилии с отдаленными антропоморфными признаками, небольшую фигурку, покрытую мехом, напоминавшим крысиный. Анетта Легран, двигаясь, точь-в-точь как грызун, направилась к решетке, встроенной в стену над плинтусом. Она подняла крышку и с проворством крысы скрылась в темных пустотах скрытых от глаз водостоков. Полидори с отвращением оглядел себя. Он изрыгнул на собственные ноги все содержимое желудка.

Бормотание, которое издавала голова Байрона, внезапно сделалось совершенно членораздельным, как если бы ей удалось окончательно избавиться от кляпа. Секретарь услышал хохот, преисполненный злобы. Он открыл глаза и увидел у дверного проема своего Лорда, во весь рост, с головой, которая находилась на том самом месте, где хозяин обычно ее

носил.

– Бедный мой *Полли Долли*... – повторял Байрон, не в силах закончить фразу из-за безудержных приступов смеха.

Лорд Байрон распахнул дверь и поверх его плеч Полидори увидел Мэри, Клер и Перси Шелли, которые, чуть ли не задыхаясь от хохота, взирали на волнующее зрелище, каковое он собой являл: сложившийся пополам, сжимающий в объятиях тетрадки, обнаженный и вымаранный в содержимом собственного желудка.

В течение трех дней Джон Полидори не покидал своей комнаты. Анетта Легран проявила безграничное великодушие, снабдив его тремя бутылочками, которые с безукоризненной пунктуальностью забирала в течение ночи, пока Полидори спал после утомительных и постыдных манипуляций, необходимых, чтобы их наполнить. В свою очередь, с той же обязательностью, она оставляла на письменном столе, возле подсвечника, тетради – одну за другой. По истечении контракта, Джон Полидори являл собой жалкое зрелище.

Без сомнения, объем бутылочек – которые, согласно уговору, должны были заполняться до верха, – был достаточно велик, чтобы лишить секретаря последних сил.

Бледный, с лиловыми синяками под глубоко запавшими глазами и с непроизвольной дрожью в правой руке, Джон Полидори наконец закончил свой рассказ.

Он читал и перечитывал свое творение. Округлым женским почерком он переписал, слово за словом, рукопись и, чтобы не осталось ни малейшего сомнения в его авторстве, не поленился изготовить папку, на которой написал: «*Вампир*, предварительные наброски к рассказу». Туда он поместил сорок листов заметок, написанных со скрупулезной неразборчивостью, безупречно путаным почерком – чему, конечно же, способствовала непроизвольная дрожь в руке. Все это было проделано столь убедительно, что, в конечном счете, Полидори и сам поверил в то, что является отцом рукописи. Он даже внес поправки, которые потом с равным усердием уничтожил, вернувшись в результате к изначальному тексту.

Спустя три дня и три ночи, после многочисленных исправлений, громоздившихся друг на друга, окончательный вариант *Вампира* до последней точки и запятой совпадал с исходной рукописью. Завершив свои труды, Полидори без малейших угрызений совести тщательно уничтожил доказательства своего позора: верный урокам подлинного автора, он проглотил все черновики до последней страницы, претворив текст в плоть.

На четвертый день Джон Полидори вышел из своей комнаты. Его совесть была чиста. Наступила ночь, когда, как и было условлено, ровно в двенадцать все должны были собраться, чтобы зачитать обещанные истории. Уже с лестницы Джон Полидори увидел, что гостиная особым образом обустроена для этого торжественного события: канделябры, размещенные в четырех углах комнаты, изливали зловещий, тусклый свет, который едва достигал стола. Сквозь окна, занавешенные пурпурными гардинами, проглядывало серое, подернутое тучами небо, отчего зала казалась похожей на капище. Лорд Байрон и Перси Шелли сидели друг напротив друга в торцах стола. По бокам расположились Мэри и Клер. Перед каждым лежала готовая рукопись. Никто из собравшихся не заметил Полидори, который, сокрывшись в темном лестничном проеме, окидывал их всеведущим взглядом. Честно говоря, никто и не ожидал, что секретарь придет в назначенное время. Да и сам Полидори не сразу понял, что для него даже не приготовлено место за столом. Бессильный гнев сковал судорогой его горло. И только пачка бумаги, которую он держал под мышкой, придавала ему уверенность: эти жалкие спесивцы не стоят его возмущения.

– Вижу, меня не ждали, – произнес он любезным тоном, нарочито медленно спускаясь по ступенькам.

Лорд Байрон не смог выдать из себя ни слова и молча уступил секретарю свой стул. Полидори стал уговаривать хозяина сесть, но тот сказал, что предпочитает постоять. Так рассказ будет звучать еще эффектнее. Согласно оговоренным правилам, начать чтение предстояло одной из женщин. Но возбуждение Полидори было столь велико, что, не дожидаясь, пока ему предоставят слово, он открыл рукопись и начал читать:

И тогда во фривольном зимнем Лондоне, в бесчисленных, как диктовала мода той эпохи, салонах появился некий лорд, интриговавший не столько знатностью происхождения, сколько загадочностью...

Джон Полидори читал размеренно, время от времени делая паузу и окидывая мрачным взглядом растерянные лица своих немногочисленных слушателей. Не отрывая глаз от своего Лорда, он продолжил:

Оригинальность сделала его желанным гостем в любом доме. Все жаждали познакомиться с ним, и всякий, в ком притупились все сильные

чувства, кто пресытился и изнемогал под грузом скуки, поздравлял себя с тем, что нашлось нечто, заново пробудившее угасший было интерес к жизни.

Читая, секретарь угрюмо расхаживал вокруг стола. Чтобы придать своим словам еще больше веса и убедиться в том, что желаемый эффект достигнут, он хитро поглядывал на аудиторию. Да, он полностью завладел ее вниманием. Намеки на присутствующих были столь тонки, что, если бы кто-нибудь вздумал оскорбиться, то выглядел бы полным идиотом.

Обрей – читал Полидори, пристально глядя в глаза Шелли, – распластался на кровати, терзаемый жестокой лихорадкой, и в приступах бреда призывал Корда Рутвена – в этот момент он перевел взгляд на Байрона – и Янте – теперь он смотрел на Клер. Иногда он принимался молить своего старого приятеля по путешествиям, чтобы он простил свою возлюбленную...

Под изумленными взглядами своих слушателей, никем не перебиваемый, Полидори дочитал рассказ до конца:

...Корд Рутвел исчез, а кровь его несчастной спутницы утолила жажду вампира.

Секретарь закрыл тетрадь. Воцарилось гробовое молчание, сотканное из страха, удивления и уважения.

– Что ж, мне не терпится услышать ваши рассказы, – сказал он.

Байрон поднялся, собрал свои листки и бросил их в огонь. Клер и Шелли последовали его примеру. Тогда Мэри раскрыла тетрадь и приготовилась читать. В тот самый момент, когда она собиралась огласить название, Джон Полидори, с нарочитым безразличием и явным намерением оскорбить, перебил:

– Вынужден извиниться, но я поднимусь к себе. Меня ждут важные дела.

В тот момент, когда он закрывал дверь своей комнаты, ему послышалось, что Мэри произнесла слово *Франкенштейн*. Он решил, что ослышался и от души рассмеялся.

Джон Полидори был самым счастливым человеком на свете. Как только он приедет в Лондон, сразу же отнесет издателю Байрона – ничто другое так не унизит его Лорда – рукопись *Вампира*. Однако ему внезапно пришло в голову, что текст, которому предстоит открыть новые горизонты, несмотря на свою гениальность и мрачную яркость, слишком невелик, чтобы его имя снискало бессмертную славу. Нет, сказал он себе, разглядывая тощую папку, едва насчитывавшую пятьдесят страниц, один рассказ, каким бы утонченным, оригинальным и новым он ни был, не шел ни в какое сравнение с сочинениями, ну, взять хоть его Лорда. Можно представить, какие шуточки будет отпускать Байрон по поводу *Собрания сочинений* своего секретаря.

Полидори овладело уныние, более глубокое, чем озеро, на которое он сейчас смотрел из окна. Он попытался заглянуть за косую завесу воды, которая нескончаемым потоком падала с небес, и разглядеть маленький огонек на вершине горы. Однако сигнала не было видно. С отвращением к самому себе он подумал, что готов отдать все что угодно в обмен на новую книгу.

Джон Полидори с нетерпением ждал какого-нибудь знака от своего соавтора. Однако в течении трех последующих дней Анетта Легран не подала ни единого признака жизни; она исчезла с той же таинственной внезапностью, с какой появилась. Джон Полидори, алчущий славы, был готов отдать до последней капли свою жизнетворную субстанцию, лишь бы получить новые истории. Разве не принято заносчиво твердить, что книги – дети своих авторов? Тогда почему не признать отцовство в отношении тех произведений, которым он в прямом смысле слова отдал принадлежащее непосредственно ему и только ему семя, чтобы дать жизнь каждому из персонажей? Нет, это никакая не метафора, он действительно является отцом *Вампира* и, более того, готов исполнить свой высокий и благородный отцовский долг, став щедрым и плодовитым зачинателем новых творений слова, сколь загадочных, столь и великих. Подобное предназначение освобождало его от каких-либо угрызений совести. Исполненный решимости покорить вершину славы, Полидори пришел к выводу, что если для достижения этой цели необходимо сначала спуститься в преисподнюю унижения, он без каких бы то ни было колебаний пойдет на такой шаг. С лихорадочной безоглядностью Фауста он обмакнул перо в чернила и

приступил к составлению следующего договора.

Моя дорогая Анетта, Поистине, Вы – самое чудовищное, презренное и дикое существо, с каким я когда-либо имел несчастье встретиться. То описание, которое Вы дали своей собственной персоне, слишком снисходительно по сравнению с той анатомией, что мне пришлось лицезреть. Да и Ваше духовное обличье ничуть не лучше. Однако я вынужден признать, что рассказ, отцом которого Вы меня сделали, и вправду совершенен. Я не знаю, каким образом Вам удалось проникнуть в глубины моей души и раскрыть самую потаенную, темную и отвратительную сторону моего существа. Никто не посмел бы усомниться в авторстве Вампира: он слишком схож с моей собственной жизнью. Вы дьявол во плоти, злой и коварный демон. Но теперь я нуждаюсь в Вашем проклятом таланте в той же мере, в какой Вы нуждаетесь в моем семени, чтобы не погибнуть. Я готов заключить с Вами тайный брак. Подобно тому, как знатный муж не может обойтись без женской плоти, чтобы продолжить свой род и передать отпрыскам свою благородную кровь, так и я не могу дальше жить без Вас. Я буду ждать Вас сегодня ночью.

Джон Полидори оставил письмо рядом с подсвечником и, повинувшись внезапному эстетическому порыву, положил поверх конверта белую орхидею.

Джон Полидори пробудился взволнованный, как ребенок. Он приподнялся и сразу же посмотрел в сторону письменного стола. Там же, где и всегда, рядом со свечой, лежало новое письмо. Он вскрыл конверт и с безмятежной улыбкой принялся читать.

Дорогой Ар. Полидори,

Когда Вы будете читать это письмо, я уже буду далеко отсюда. Мы решили оставить Женеву по причинам, о которых я сейчас не буду распространяться, но о которых Вы без сомнения и сами догадываетесь. Вы и представить себе не можете, насколько мне польстило Ваше намерение вступить со мной в брак; признаюсь, я никогда не смела и мечтать о том, чтобы кто-нибудь сделал мне подобное предложение, и уж тем более о том, что такой красивый юноша, как Вы, станет искать моей руки. Прискорбно, но я не могу ответить согласием. К тому же, я ненавижу формальные обязательства. Так уж повелось, что вы, мужчины, никогда не довольствуетесь тем, что имеете. С Вас достаточно и Вампира, сочинения, которое по самому скромному счету слишком хорошо для жалкого докторишки, обреченного на то, чтобы быть вечной тенью своего Лорда. Поверьте, ни на что другое Вы и не годитесь. Коже если бы Вам удалось написать нечто, подобное тому, что выходит из-под пера великолепного Перси Шелли, Вы все равно бы остались нищим слугой, сыном секретаря, и, стань Вы отцом, то не породили бы никого, кроме столь же ничтожных секретарей, как Вы сами. Не обольщайтесь, благородство Вашей крови – не что иное, как слабый отсвет величия Вашего Корда. Наконец, что заставляет Вас думать, что Ваша жизнетворная жидкость – спору нет, сладостная – единственная, на которую я могу рассчитывать? К счастью, на земле миллионы мужчин. Кроме того, отцовство всегда сомнительно.

Мне также льстят эпитеты, которые Вы в отношении меня употребили, хотя, ради высокой прозы, советую не злоупотреблять ими. Вы назвали меня дьяволом, спасибо за комплимент. Однако вынуждена Вам напомнить, что дьявол сам выбирает души, которые хочет купить, и никогда не обратит внимания на ту, что сама униженно выставляет себя на продажу.

Довольствуйтесь тем, что я уже Вам дала. Прощайте, мой дорогой Полли Долли.

Джону Полидори пришлось сесть, чтобы не упасть. Он всегда был жертвой самых постыдных унижений и всегда признавал перед самим собой, что по своей природе он обречен на прозябание. Но еще ни разу он не чувствовал себя таким ничтожным. От безысходного отчаяния он заплакал. Он увидел в зеркале свое жалкое отражение, и ему показалось, что его лицо напоминает морду собаки, Боутсвейна, ньюфаундленда его Лорда. Впрочем, даже если бы в этот самый момент он умер, то все равно не мог бы рассчитывать на надгробие, которое Байрон поставил своему псу в Ньюстедском аббатстве, и уж тем более на эпитафию, которую хозяин ему посвятил:

Эти камни напоминают о друге, у меня не было другого. Покойся с миром.

Теперь Джон Полидори плакал по-собачьи: с долгими, отчаянными завываниями и непрерывными стенаниями.

Он снова стал скучным секретарем, шутком, незримым призраком, сыном секретаря, неудавшимся врачом, никому не ведомым *Полли Долли*.

Джон Полидори выглянул в окно. Он посмотрел на мрачные воды Женевского озера и сразу перевел взгляд на вершину горы. Ему показалось, что в доме, притаившемся среди утесов, горит слабый свет. Его лицо тут же просветлело. С видом безумца он бросился вниз по лестнице и молнией пронесся через гостиную. По пути, почти не останавливаясь, он сорвал одно из ружей, висевших над камином. Насквозь промокший, он бежал по скользкой глине, падал, полз и снова вставал. Над его бровью краснела струйка крови, появлявшаяся с той же настойчивостью, с которой дождь ее смывал. Кровь и вода окрасили его лицо в розовый цвет. Он бежал к озеру, как задыхающееся подводное животное. Наконец, он добрался до маленького причала. Его доски стонали под яростными ударами волн. На воде качалась лодка.

Полидори был готов убить трехглавого монстра. Он направил ствол ружья на противоположный берег и, никуда конкретно не целясь, выстрелил. Затем он швырнул ружье в озеро и, ослепший от гнева, прыгнул в лодку. Полидори так никогда и не узнал, что его выстрел погасил свет далекой свечи.

Женевское озеро ярилось диким зверем Джон Полидори плыл против ветра, однако он почти не чувствовал усталости. С упорством и одержимостью лососей, которые плывут против стремнины, он погружал весла в волны. Он греб неумело и неуклюже, стоя посередине лодки, вонзив взгляд в вершину горы, которая, злосчастная, казалось, отдалялась по мере того, как лодка продвигалась вперед. Глаза Полидори застила пелена дождя

и ненависти, и он не сразу заметил, что вода уже поднялась до щиколоток. Лодка начала тонуть. Став Хароном своей собственной преисподней, он бороздил черные воды озера, которые заставили бы содрогнуться даже бывалого моряка. Лодка буквально перелетала с волны на волну, ударялась хрупким корпусом о стену воды, зарывалась носом, вставала на корму, устремлялась вперед и ввысь и снова летела. В эти моменты весла беспомощно трепыхались в воздухе. Внезапно лодка накренилась на правый борт, перевернулась вдоль горизонтальной оси и опрокинулась. Ее накрыл язык воды, и за секунду озеро поглотило утлое суденышко. Полидори отбросило на расстояние, более чем вдвое превышавшее длину причала. Огонек на вершине горы, который теперь светил ярче, был его Полярной звездой, его розой ветров, его компасом, последним ориентиром мореплавателей. Он плыл, как четвероногое животное. Подняв голову над водой, не соблюдая никаких правил, не придерживаясь ни одного из знакомых стилей, Полидори, тем не менее, продвигался вперед, иногда скрываясь под водой, выписывая причудливые, головокружительные изгибы, а порой отступая, не в силах сопротивляться яростному напору воды. Возможно, более опытный пловец немедленно погиб бы. Правила являются изобретением искусственным и призваны укротить природу, но когда последняя восстает против собственных законов, они неожиданно становятся бессильными. То, что сейчас двигало Полидори, было не его помрачившееся сознание, но слепой инстинкт. Если бы вдруг он пришел в себя, то неминуемо бы утонул.

Одному Богу известно, как Джон Полидори добрался до противоположного берега озера. Ни сном ни духом не ведая о собственной эпопее, он пополз по зеленым от мха скалам, которые были столь же непроходимы, сколь его собственный рассудок. Он даже не отметил, что опроверг второе утверждение своего Лорда: пересечь вплавь спокойную реку безусловно было ничто в сравнении с его недавним подвигом. Наконец, он достиг подножья горы. Меж двух утесов, за которыми виднелись почерневшие, но все еще внушительные останки спаленного молнией дерева, начиналась извилистая тропа, бежавшая вверх. Полидори даже не остановился, чтобы перевести дух. Твердым шагом он стал подниматься по каменистой тропке, над которой, словно своды склепа, сомкнулись согнутые ветрами сосны. С дорожки Джон Полидори не мог разглядеть вершину, был виден лишь покатый склон, на камни которого обрушивались колонны воды, молниеносно смывавшие все, что осмеливалось попасться на их пути. С другой стороны зияла бездна. Джон Полидори даже не догадывался, что за густыми зарослями, шумевшими по

его правую руку, начиналась пропасть, дно которой закрывали облака, которые висели ниже вершины горы. Из-под его ног сыпались камни, катились к краю пропасти и падали вниз, теряясь в черных бездонных глубинах. Теперь издалека озеро казалось призрачным свинцовым полем, которое, подобно громадному трупу, лежало под саваном облаков. Секретарь добрался до вершины горы.

Свет, который Полидори видел из своей комнаты, шел из маленького окошка на самом верху некоего строения. Оказалось, что это был маленький старый замок, прилепившийся к скале, – выточенный из камня крохотный акрополь, который, подобно крепости, высился над широкими просторами Женевского озера. Большие ворота, крепившиеся средневековыми петлями прямо к скале, похоже, вели в нечто вроде центрального нева, который сливался со склоном горы. Джон Полидори толкнул одну из створок и без труда проскользнул внутрь. Дверь за его спиной закрылась. Ему пришлось привыкнуть к темноте, чтобы разглядеть, куда идти. Почти на ощупь он дошел до стены, где дул ветер, еще более сильный, чем у ворот. По мере того, как его глаза приспособлялись к полутьме, постепенно вырисовывался удручающий пейзаж: подобно городу, опустошенному чумой, это место было недавно покинуто. Повсюду была разбросана женская одежда и остатки еды, а в камине остались бумаги, которые не успел поглотить жар угольев. В воздухе витал смрад, слагавшийся из самых противоположных запахов, доносившихся из разных частей дома и будто нарочно соединившихся в зале. Джон Полидори различил аромат духов. Он пошел на запах и оказался в комнате, где увидел две одинаковые кровати с двумя одинаковыми покрывалами, а над одинаковыми изголовьями висело два одинаковых Распятя. Два ночных столика – тоже одинаковых – с одинаковыми подсвечниками, в которых остались одинаковой высоты огарки.

Джон Полидори вышел из комнаты и попытался установить источник едкой вони. Это был, сказал он себе, тот же тошнотворный запах, что он вдыхал в общественных туалетах трактиров или, еще точнее, в самых грязных борделях Греции. Ему показалось, что в этом смраде он улавливает запах своего исподнего. Он двинулся по узкому коридору, который вскоре превратился в лестницу с неровными ступенями, которая, в свою очередь, упиралась в крошечную дверку. Комната, находившаяся за этой дверью, была, без сомнения, источником невыносимой вони. Полидори пришлось нагнуться, чтобы не удариться лбом о притолоку. Размеры помещения были столь малы, что в нем не могло бы жить даже животное. Куцая постель из соломы и крохотный пюпитр у окна: вот и вся обстановка. Остаток свечи

еще горел. Секретарь подошел к окну: на той стороне озера была целиком видна Вилла Диодати, а прямо по центру – окошко его комнаты. Под пюпитром лежал небольшой саквояж. Полидори жадно схватил его за одну из ручек и немедленно открыл.

Он увидел сотни аккуратно сложенных листов бумаги. Первый оказался его собственным письмом, тем самым, что было написано накануне. Под ним лежала тетрадка с набросками к *Вампиру*. Достав тетрадь, Полидори обнаружил толстую пачку писем. Прочитав первую строку верхнего письма, он чуть не умер от ужаса. Но ему еще предстояло прочесть остальное.

Он знал почерк своего Лорда лучше, чем собственный. Но что делает письмо Байрона здесь, в омерзительной берлоге чудовища, о котором известно одному ему, Полидори? И чем больше он перечитывал раз за разом первую строку, тем меньше понимал что-либо, как будто аккуратные округлые буквы были знаками какого-то неведомого языка.

Омерзительная муза мрака,

Я только что прочитал вторую часть Вашего Манфреда – хотя, возможно, следовало бы говорить моего Манфреда – и должен признать, что если начало поэмы подавало надежды, то продолжение поистине пленительно. Узнаваемое байроническое звучание делает стих по-настоящему превосходным. Надеюсь, Вы наелись досыта (вряд ли можно пожаловаться на то, что Ваш последний ужин был скудным). Судя по результату Ваших литературных усилий, моя оплодотворяющая жидкость преисполнила Вас моим драгоценным вдохновением. Малыш Манфред похож на своего отца. Он и вправду мне нравится. А если Вы будете продолжать в том же духе, то я окончательно в него влюблюсь. Я не знаю, откуда в Вас этот проклятый талант, откуда Вы взяли голос Манфреда, но только в холодных стенах готического собора он звучит одиноко и драматично, как мой собственный. Та вина, неизбывная и неискупимая, – суть преждевременное терзание совести, которое, я знаю, будет истязать меня до последнего дня. Я не стану объяснять Вам, почему. Я не читал Фауста – не знаю немецкого – но совсем недавно, по случайности, мой друг Мэтью Льюис перевел мне, viva voce, большой отрывок, и я не мог избавиться от того самого впечатления, что произвело на меня чтение Манфреда. Как бы мне хотелось походить на Вашего героя и обладать его стойкостью перед искушениями! Однако, как видите, я не могу устоять даже перед соблазном объявить себя отцом Манфреда.

Джон Полидори чувствовал себя последним глупцом. Он чувствовал ту же горькую и жгучую обиду, что и обманутый муж Его единственно утешала мысль о том, что его Лорд, этот благородный поэт, оказался таким же ничтожеством, как и он сам.

Сидя в четырех зловонных стенах маленькой кельи, Полидори начал перебирать содержимое саквояжа. Наконец, выйдя из себя, он запустил в него руки и, захватив столько, сколько смог, извлек кипу бумаг, которые

тотчас разлетелись по комнате. Это были десятки писем. Одно из них зацепилось за его карман. Полидори прочел его.

Notre(кошмарная) Dame:

Если бы то было во власти моей скромной персоны, я отдал бы Вам министерство, которым нынче правит, – а вернее было бы сказать которое узурпировал, – ничтожный граф Разумовский, чья чудовищность гораздо более гнусной природы, нежели Ваша. Хотел бы министр воспользоваться талантом, составляющим Ваше главное украшение, да опасаюсь, что ему нечего предложить взамен, поскольку он лишен той силы, которой щедро наделен наш архимандрит Фотий – пошли нам, Господи, греховным, поменьше пастырей таких, – полублагих, полусвятых, – который, кажется, питает равную страсть как к мужским душам, так и к женским телам. С гораздо большим основанием, чем архимандрит, могу применить к Вам слова, сказанные им госпоже Орловой: Что Ты сотворил со мной, превратив мою плоть в душу?

С великим наслаждением я прочел вторую часть Пиковой дамы. Хотелось бы мне самому писать сию повесть. О как хотелось бы мне знать, чем закончится эта история! Жду Вас сегодня ночью.

Александр Пушкин

Там было множество незнакомых имен, никому ничего не говоривших. Полидори чувствовал себя последним идиотом. И уже не потому, что был подло обманут, но потому, что его соперники оказались ничтожествами, любителями, которым будущее не сулило ни славы, ни почестей. Он читал подписи с отчаянием господина, которому жена изменила с лакеем. Три письма от некоего ЭТА. Гофмана, с полдюжины от какого-то Людвиг Тика. Он доставал письма одно за другим, надеясь встретить великие имена; однако ему попадались одни только безвестные знаменитости: Шатобриан, Ривас, Фернан Кабальеро, Висенте Лопес-и-Планес.

Отчаявшись и обезумев от ненависти, он беспорядочно ворошил бумаги, остававшиеся в саквояже. Наугад он вытянул еще одно письмо.

Под ним стояла подпись Мэри Шелли. Первый абзац поверг Полидори в неопишуемый ужас. И хотя ему пришлось стать участником и свидетелем воистину чудовищных событий, он никогда еще не читал ничего, столь откровенного и столь пугающего. Джон Полидори вынужден был прерваться. Буквы поплыли перед его глазами, образуя волнистые линии, лишенные всякого смысла. Джон Полидори упал в обморок.

Больше никогда, до самого дня его ранней смерти, он не обретет ясности рассудка.

До нас дошли лишь скудные сведения о четырех последних годах жизни Джона Полидори, которые последовали за тем летом, изменившим развитие мировой литературы. Из его собственно дневника становится ясно, что молодой врач – который, по словам Байрона, «скорее годился на то, чтобы плодить болезни, нежели лечить их» – неотвратно скатывался в полное безумие. Воспользовавшись отсутствием своего Лорда, секретарь в 1819 году передал рукопись *Вампира* издателю. Она была опубликована и, вопреки прогнозам самого Лорда, весь тираж разошелся в первый же день. Однако произведение вышло за подписью не его предполагаемого автора, Джона Полидори, а Байрона. Последний, впад в ярость, прислал из Венеции категорическое опровержение.

Мэри Шелли была еще малословней: в предисловии к своему роману *Франкенштейн*, где она пишет о том, при каких обстоятельствах дождливым летом 1816 года на Вилле Диодати зародилось ее детище, упоминается лишь о договоре, согласно которому «каждый из нас должен был написать рассказ, основанный на проявлениях чего-нибудь сверхъестественного». В конце своего маленького пролога Мэри Шелли притворно заявляет, что «неожиданно погода улучшилась, и мои друзья меня покинули, отправившись исследовать Альпы, и среди их красот позабыли о нашем уговоре. По этой причине предлагаемая читателю история оказалась единственной завершенной». По какой-то таинственной причине автор *Франкенштейна* решила умолчать о рождении *Вампира* и обошла ледяным молчанием Джона Полидори.

Байрон находился в Италии, в Пизе, когда в 1821 году ему сообщили о самоубийстве его секретаря. Он искренне и глубоко переживал. Возможно, если бы он знал, что его бедный *Полли Долли* оказался способен на три подвига, о которых и сам не догадывался, то это послужило бы ему утешением.

История сохранила достаточно доказательств существования близнецов Легран. В регистрационных книгах женевского *Hoteld'Angleterre* сохранилась запись об их пребывании там. Однако была ли у них третья, тайная сестра, навсегда останется загадкой. По крайней мере, мне так; и не удалось найти никаких тому подтверждений.

Я с опаской думаю, что подобным доказательством может стать черный конверт, скрепленный красной печатью, в центре которой

угадывается неясная, едва различимая буква L, появившийся, откуда ни возьмись, на моем письменном столе, и открыть который я не решаюсь.

notes

Примечания

1

Перевод Г. Иванова